НАШИ НОВЫЕ

ХРИСТІАНЕ,

Ѳ. М. Достоевскій и гр. Левъ Толстой.

(По поводу рѣчи Достоевскаго на праздникѣ Пушкина и повѣсти гр. Толстаго «Чѣмъ люди живы»?)

К. Леонтьева.

Продается въ пользу слѣпыхъ гор. Москвы.

МОСКВА.
Типографія Е. И. Погодиной, Софійская набер., д. Котельниковой.
1882.

НАШИ НОВЫЕ

ХРИСТІАНЕ.

Ѳ. М. Достоевскій и гр. Левъ Толстой.

(По поводу рѣчи Достоевскаго на праздникѣ Пушкина и повѣсти гр. Толстаго «Чѣмъ люди живы»?)

К. Леонтьева.

Продается въ пользу слѣпыхъ гор. Москвы.

МОСКВА.
Типографія Е. И. Погодиной, Софійская набер., д. Котельниковой.
1882.

Дозволено Цензурой. Москва, Сентября 25 дня 1882 г.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Соединенные въ этой книжкѣ два отзыва мои о нашихъ двухъ знаменитыхъ писателяхъ неодновременны, какъ и самыя обстоятельства, которыя ихъ вызвали.

Взглядъ мой на рѣчь Достоевскаго былъ напечатанъ подъ моимъ именемъ въ никому почти неизвѣстномъ „Варшавскомъ Дневникѣ" лѣтомъ 80-го года, мой разборъ повѣсти гр. Толстаго появился недавно въ „Гражданинѣ", подъ псевдонимомъ „Русскій мірянинъ".

Тотъ, кто знаетъ до чего въ Россіи теперь стало трудно найти средства для поддержанія тѣхъ правильныхъ и ясныхъ началъ, которыя обыкновенно (и справедливо!) зовутся *охранительными*, тотъ пойметъ почему я рѣшился издать въ небольшой брошюрѣ эти двѣ статьи мои вмѣстѣ.

Написаны мои эти статьи по разнымъ случаямъ въ разное время; въ нихъ не разсмотрѣны подробно и внимательно другія творенія тѣхъ-же авторовъ съ цѣлью обобщить съ бо́льшею основательностью и похвалы мои, и порицанія. И гр. Толстой и Достоевскій заслуживаютъ безспорно болѣе серьезнаго изученія; мысли даровитыхъ представителей великаго народа въ извѣстную эпоху его жизни интересны и поучительны даже и тогда, когда онѣ намъ кажутся ошибочными. Все это такъ...

Но если все искать полноты, все ждать совершенства въ трудѣ своемъ, то не сдѣлаемъ и той малой доли пользы, которую могли бы сдѣлать при меньшей строгости къ самому себѣ.

Къ тому же, въ статьѣ „О всемірной любви" я упомянулъ и о романахъ Достоевскаго, и о „Дневникѣ Писателя", и въ нихъ я нашелъ подтвержденіе тѣмъ мнѣніямъ моимъ, которыя мнѣ пришлось высказать по случаю прославленной рѣчи на празднествѣ Пушкина.

Эта рѣчь Достоевскаго была его почти *послѣднимъ словомъ*... Послѣ этого онъ уже не успѣлъ сдѣлать ничего замѣчательнаго и, благодаря именно этой рѣчи, покойный, быть можетъ, достигъ той высшей степени популярности, которой онъ только могъ достичь...

Что касается до повѣсти гр. Л. Толстаго „Чѣмъ люди живы?" то и она явленіе весьма характерное и серьезное. Характерное потому, что въ ней яснѣе прежняго выразился взглядъ автора на *христіанскую мораль*.... Нѣчто подобное проповѣдывалъ и Левинъ въ послѣдней части „Анны Карениной..." Но мы не имѣемъ права рѣшительно отожествлять Левина съ самимъ гр. Толстымъ. Всѣ мнѣнія героя романа, хотя бы и съ нѣкоторою любовью изображеннаго, мы не имѣемъ основанія приписывать автору этого романа. Однако, если обратить вниманіе на то, что въ „Войнѣ и Мирѣ" и другихъ прежнихъ произведеніяхъ гр. Толстаго *эта черта* была гораздо менѣе замѣтна, чѣмъ въ разсужденіяхъ Левина *) и стала совершенно ясна уже по одному выбору эпиграфовъ въ томъ послѣднемъ разсказѣ его, который я разбираю, то я думаю, что мы имѣемъ поводъ заняться имъ, такъ сказать, — спеціально и утверждать, что этотъ прелестный въ своемъ родѣ раз-

*) Въ послѣдней части „Анны Карениной".

сказъ есть явленіе почти столько же характерное, какъ и рѣчь Достоевскаго.

Серьезно же это явленіе уже потому, что *въ теченіи одного лѣта* повѣсть „Чѣмъ люди живы?“ *печатается въ четвертый разъ*. Сначала она появилась въ журналѣ г-жи Истоминой „Дѣтскій Отдыхъ“; потомъ она вышла отдѣльно съ хорошими рисунками; потомъ тоже отдѣльно безъ рисунковъ, дешевымъ изданіемъ; и недавно ее *четвертый* разъ отпечатали въ видѣ большаго альбома съ тѣми же рисунками, но тоже большаго размѣра.

Значитъ она нравится, интересуетъ; значитъ она стала очень популярна...

И замѣтимъ—она считается полезной для дѣтскаго возраста, то-есть для такого, въ которомъ:

.... еще новы
Всѣ впечатлѣнья бытія....

Очень важно знать *правильны ли* эти впечатлѣнія, строги ли они, или только *милы* но *обманчивы*!..

По моему мнѣнію впечатлѣніе этого разсказа именно мило и трогательно, но обманчиво. И по моему же мнѣнію рѣчь Достоевскаго (которую я рѣшился перепечатать здѣсь, чтобы возраженія мои были яснѣе) рѣчь пламенная, вдохновенная, *красная*, такъ сказать, но въ основаніи своемъ совершенно ложная; ибо нельзя же смѣшивать такъ опрометчиво и грубо, какъ сдѣлалъ Достоевскій, *объективную любовь поэта*, любовь *изящнаго вкуса*, требующаго пестроты, разнообразія, антитезы и даже *трагической* борьбы, съ любовью *моральной*, съ чувствомъ милосердія и со стремленіемъ къ поголовной, однообразной кротости...

Какъ ни разнятся между собой Толстой и Достоевскій и по складу художественнаго таланта, и по выбору предметовъ для творчества своего, и по столькому другому,—но они сходятся въ одномъ—они за послѣд-

нее время стали проповѣдниками того одностороня христіанства, котороe можно позволить себѣ назы христіанствомъ „сентиментальнымъ“ или „розовымъ“.

Этотъ оттѣнокъ христіанства очень многимъ знаком эта своего рода „ересь“, неформулированная, не сов купившаяся въ организованную еретическую церков весьма распространена у насъ теперь въ образованном классѣ.

Объ одномъ *умалчивать;* другое *игнорировать;* третье *отвергать* совершенно; инаго *стыдиться*, *и признавать святымъ* и *божественнымъ* только то, что наиболѣе приближается къ чуждымъ православію понятіямъ европейскаго *утилитарнаго прогресса* — вотъ черты того христіанства, которому служатъ теперь многіе русскіе люди и котораго, къ сожалѣнію, провозвѣстниками явились на склонѣ лѣтъ своихъ наши литературные авторитеты.

Отъ ихъ ума можно было бы ожидать чего нибудь поглубже и посамобытнѣе...

К. Леонтьевъ.

О всемірной любви, по поводу рѣчи Ѳ. М. Достоевскаго на Пушкинскомъ праздникѣ.

I.

Не пора ли ужъ перестать писать о Пушкинѣ, и о всѣхъ тѣхъ, кто блисталъ и дѣйствовалъ на его московской тризнѣ? Довольно!.. Общество русское доказало свою цивилизованную зрѣлость, поставило Пушкину дешевый памятникъ; по европейски убирало его вѣнками, по европейски обѣдало, по европейски говорило на обѣдахъ спичи. По обыкновенію своему, интеллигенція наша, ровно, по этому поводу, ничего не выдумала своеобразнаго, даже чего-нибудь такого, что умѣютъ выдумать отживающіе французы, по случаю какого-нибудь наводненія въ дальней Испаніи.... У подножія монумента великаго русскаго творца, не обнаружилось ни одного молодаго и оригинальнаго таланта, ни въ ораторскомъ искусствѣ, ни въ поэзіи; говорили рѣчи и стихи, и вообще дѣйствовали тутъ все люди прежніе, съ давно-опредѣлившимися взглядами, и давно извѣстные; блистали люди, которыхъ молодость прошла при *прежнихъ условіяхъ*, болѣе сходныхъ съ условіями, развившими самаго Пушкина. Враждебно-ли, или сочувственно относятся всѣ эти таланты *къ старому порядку* и его остаткамъ—все равно; *они всѣ обязаны этому поруганному прошлому*, какъ впечатлѣніями своими (т. е. содержаніемъ своихъ тво-

реній), такъ и умственными силами своими, трудившимися надъ воспроизведеніемъ этого содержанія, даннаго русскою жизнью... *Новаго ничего!*... Ни изобрѣтательности въ формѣ чествованія, ни какой бы то ни было умъ поражающей, свѣжей мысли, либо вовсе неслыханной, либо давно забытой и просящейся снова въ жизнь.... Многое изъ сказаннаго и написаннаго по этому поводу, было гдѣ-то и когда-то, навѣрное, тоже сказано или написано, тѣми-же самыми лицами или иными, и гораздо лучше, и полнѣе. Одинъ только человѣкъ, какъ слышно, выразился по поводу пушкинскаго празднества вполнѣ оригинально:—это графъ Л. Толстой.... Печатали, будто онъ, отказываясь отъ участія въ этомъ празднествѣ, сказалъ: «это все одна комедія!» — Я не думаю, чтобъ это было такъ. Отчего-жъ комедія?... Вѣроятно, многіе были искренни въ своемъ желаніи почтить память Пушкина... Мнѣ очень нравится эта независимость графа Толстаго, и его капризное пренебреженіе къ современности нашей, но я не вижу нужды соглашаться съ тѣмъ, что все это притворство и комедія. Въ искренность я готовъ вѣрить; я желалъ бы видѣть только во всемъ этомъ больше національнаго цвѣта, побольше остроумія и глубины. Все это, быть можетъ, и очень тепло; но тепло какъ паръ, не замкнутый въ какую-нибудь форму. Тепло, даже горячо, порывисто, но разсѣялось скоро, и не осталось ничего!... Все надежды, все мечты, и мечты вовсе не картинныя! Правду сказали въ «Вѣстникѣ Европы» (я гдѣ-то это прочелъ), что и въ томъ «смиреніи», которое хотятъ признать уже довольно давно отличительнымъ признакомъ славизма, есть много своего рода самохвальства и гордости, ничѣмъ еще неоправданныхъ.... Довольно объ этомъ. Больше всего сказаннаго и продекламированнаго на праздникѣ, мнѣ понравилась и заставила меня задуматься—рѣчь Ѳ. М. Достоевскаго. Положимъ, и въ этой рѣчи значительная часть мыслей не особенно нова и не принадлежитъ ис-

ключительно г. Достоевскому. О русскомъ «смиреніи, терпѣніи, любви», говорили многіе, Тютчевъ пѣлъ объ этихъ добродѣтеляхъ нашихъ въ изящныхъ стихахъ. Славянофилы прозой излагали тоже самое. О «всеобщемъ мірѣ» и «гармоніи» (опять таки въ смыслѣ *благоденствія*, а не въ смыслѣ *поэтической борьбы*) заботились и заботятся, *къ несчастію*, многіе и у насъ, и на Западѣ: Викторъ Гюго, воспѣвающій междоусобія и цареубійства, Гарибальди, составившій себѣ славу военными подвигами, соціалисты, квакеры, по своему—Прудонъ; по своему—Кабе; по своему—Фурье и Ж. Сандъ.

Въ программѣ изданія «Русской Мысли» тоже обѣщаютъ *царство добра* и *правды на землѣ*, *будто-бы* обѣщанное самимъ Христомъ. Въ собственныхъ сочиненіяхъ г-на Достоевскаго, давно и съ большимъ чувствомъ и успѣхомъ проводится мысль о любви и прощеніи. Все это не ново; ново-же было въ рѣчи г. Ѳ. Достоевскаго приложеніе этого полу-христіанскаго, полу-утилитарнаго, *всепримирительнаго стремленія къ многообразному и демонически-пышному генію Пушкина*. Но какъ-бы то ни было,—необходимо прежде всего считаться и съ именемъ автора, и съ эффектомъ, произведеннымъ его словами; тѣмъ болѣе, что эта не слишкомъ новая мысль—о «смиреніи» и о примирительномъ назначеніи славянъ (составляющихъ, за неимѣніемъ пока лучшаго нашу племенную особенность), распространена въ той части нашего общества, которое ни съ любовью къ Европѣ не хочетъ разстаться, ни съ послѣдними сухими и отвратительными выводами ея цивилизаціи покорно помириться не можетъ. До этого, къ счастію, еще наше смиреніе не дошло.

Объ этой рѣчи я хочу поговорить сегодня.

Не знаю, что бы я чувствовалъ, еслибы я былъ *тамъ*... Но издали, человѣкъ хладнокровнѣе. Я нахожу, что рѣчь г. Достоевскаго (напечатанная потомъ въ «Московскихъ Вѣ-

домостяхъ») въ самомъ дѣлѣ должна была произвести потрясающее дѣйствіе, если только согласиться съ ораторомъ, что призваніе *космополитической любви*, которое онъ считаетъ удѣломъ русскаго народа, есть назначеніе благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многаго, очень многаго въ этой идеѣ постичь не могу... Это всеобщее примиреніе, даже и въ теоріи, со многимъ само по себѣ такъ *непримиримо!*...

Во первыхъ, я постичь не могу, за *что* можно *любить современнаго европейца?*...

Во вторыхъ, любить и любить — разница.... Какъ любить?—Есть любовь—*милосердіе*, и есть любовь *восхищеніе;* есть любовь *моральная*, и любовь *эстетическая*. Даже и эти два вовсе несхожія *влеченія* нужно подраздѣлить весьма основательно на нѣсколько родовъ. Любовь моральная, т. е. искреннее желаніе блага, состраданіе или радость на чужое счастіе и т. д., можетъ быть *религіознаго происхожденія*, и происхожденія *естественнаго*, т. е. *производимая* (безъ всякаго вліянія религіи) большой природной добротой, или воспитанная какими нибудь гуманными убѣжденіями. Религіознаго происхожденія нравственная любовь, потому уже лучше естественной, что естественная доступна не всякой натурѣ, а только счастливо въ этомъ отношеніи одаренной; а до религіозной любви, или милосердія, можетъ дойти и самая черствая душа долгими усиліями аскетической борьбы противу эгоизма своего и страстей. На это можно привести довольно примѣровъ и изъ нынѣшней жизни. Но живые примѣры и біографическія подробности заняли-бы здѣсь много мѣста. Больше я развивать эту тему и подраздѣлять чувства любви или симпатіи не буду. Объ этомъ можно написать цѣлую книгу. Я только хотѣлъ *напомнить* все это. Остановлюсь на грубомъ, можно сказать, различіи между любовью моральной и любовью эстетической. Мы жалѣемъ человѣка, или онъ нравится

намъ—это большая разница, хотя и совмѣщаться эти два чувства иногда могутъ. Попробуемъ приложить оба эти чувства къ большинству современныхъ европейцевъ. Что-же, намъ жалѣть ихъ, или восхищаться ими?—Какъ ихъ жалѣть?! Они такъ самоувѣренны и надменны; у нихъ такъ много передъ нами и передъ азіатцами житейскихъ и практическихъ преимуществъ? Даже большинство бѣдныхъ европейскихъ рабочихъ нашего времени—такъ горды, смѣлы, такъ *не смиренны*, такъ много думаютъ о *своемъ мнимомъ* личномъ достоинствѣ, что сострадать можно имъ никакъ не по первому невольному движенію, а развѣ по холодному размышленію, по натянутому воспоминанію о томъ, что имъ, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть *въ экономическомъ отношеніи тяжело*. Или еще можно ихъ жалѣть философски, то-есть такъ, какъ жалѣютъ людей ограниченныхъ и заблуждающихся. Мнѣ кажется, чтобы почувствовать невольный приливъ къ сердцу того милосердія, той нравственной любви, о которой я говорилъ выше, надо видѣть современнаго *) европейца въ какомъ нибудь униженномъ положеніи: побѣжденнымъ, раненнымъ, плѣннымъ, да и то условно. Я принималъ участіе въ Крымской войнѣ, какъ военный врачъ. И тогда, наши офицеры, даже казацкіе, не позволяли нижнимъ чинамъ обращаться дурно съ плѣнными. Сами же начальствующіе изъ насъ, какъ извѣстно, обращались съ непріятелями даже слишкомъ любезно, и съ Англичанами, и съ Турками, и съ Французами. Но разница здѣсь была большая. Передъ Турками, никто блистать не хотѣлъ. И по отношенію къ нимъ, дѣйствительно, во всей чистотѣ своей

---

*) Я говорю „современнаго“ въ смыслѣ тенденціи, рода воспитанія, и всего того, что составляетъ такъ называемый *типъ*, а не про всѣхъ тѣхъ, которые *теперь живутъ*. И Бисмаркъ, и Папа, и какой-нибудь набожный простой баварецъ, *тоже теперь* живутъ; но это остатки — прежней, *густой*, такъ сказать, и *богатой духомъ* Европы.—Я не про такихъ современниковъ нашихъ говорю: объясняюсь разъ навсегда.

являлась русская доброта. Иначе было дѣло съ Французами. Эти сухіе фанфароны были тогда побѣдителями, и даже въ плѣну, были очень развязны, такъ что по отношенію къ нимъ, напротивъ того, видна была жалкая и презрѣнная сторона русскаго характера;—какое-то желаніе заявить о своей деликатности, подобострастное и тщеславное желаніе получить одобреніе этой массы самоувѣренныхъ куаферовъ, про которыхъ Герценъ такъ хорошо сказалъ: «онъ былъ не очень глупъ, какъ почти всѣ Французы, и не очень уменъ, какъ почти всѣ Французы». Все это необходимо отличать, и великая разница,—быть ласковымъ съ побѣжденнымъ китайскимъ мандариномъ, или съ индѣйскимъ парія, — или разстилаться передъ французскимъ troupier и англійскимъ морякомъ. По отношенію къ азіатцамъ, какъ идолопоклонникамъ, такъ и магометанамъ, мы дѣйствительно, являемся въ подобныхъ случаяхъ тѣми добрыми Самарянами, которыхъ Христосъ поставилъ всѣмъ въ примѣръ. Относительно-же европейцевъ—эта доброта весьма подозрительнаго источника, и, признаюсь, я расположенъ ее презирать. Я вспоминаю нѣчто о г. Зиссерманѣ. Въ одномъ изъ своихъ политическихъ обозрѣній, г. Зиссерманъ, возмущаясь нашимъ, дѣйствительно, быть можетъ, излишнимъ кокетствомъ съ плѣнными турками (изъ которыхъ столь многіе поступали звѣрски съ болгарами и сербами), ставилъ намъ въ примѣръ нѣмцевъ которые, набравши въ плѣнъ такое множество французовъ, почти не говорили съ ними, и не хотѣли съ ними вовсе общиться. Нѣмцы прекрасно дѣлали,—съ этимъ я согласенъ. Именно, такъ надо поступать съ французами. Милосердіе къ нимъ, въ случаѣ несчастія, должно быть сдержанное, сухое, какъ бы обязательное и холодно-христіанское. Что касается до турокъ и другихъ азіатцевъ, которыхъ преходящая самоувѣренность въ наше время не можетъ въ понимающемъ человѣкѣ возбуждать негодованіе, а скорѣе какую-то жалость,—то, не доходя, ра-

зумѣется, до поднесенія букетовъ и тому подобныхъ русскихъ глупостей, конечно, въ случаѣ униженія и несчастія съ ними, слѣдуетъ быть поласковѣе. Кстати о букетахъ. Когда русскій мѣщанинъ, солдатъ или мужикъ, ведетъ плѣнныхъ турокъ, и, вспоминая о жестокостяхъ, совершенныхъ ихъ соотечественниками, думаетъ про себя: «а можетъ быть эти турки, которыхъ я вижу, ничего такого не дѣлали;— за что-же ихъ оскорблять?»—то я вѣрю въ это православное русское добродушіе. Я понимаю, что та сторона ученія Христова, которая говоритъ именно о прощеніи, т. е. о самомъ высшемъ проявленіи этой нравственной любви,— дается русскому народу легче, чѣмъ какому-нибудь другому племени. Положимъ, и къ простолюдину русскому можно здѣсь придраться. У одного—лѣнь; у другого—все слабовато, въ томъ числѣ и мстительность, и гордость—не выразительны; третій—самъ не знаетъ, что ему нужно дѣлать; у четвертаго—равнодушное отношеніе ко всему, кромѣ своихъ личныхъ интересовъ. Но это уже тонкіе психологическіе оттѣнки. И распространенію христіанства служили не одни только высокія побужденія, а всякія;—ибо «сила Божія и въ немощѣхъ нашихъ познается». Но когда нашъ харьковскій европеецъ, или калужская француженка любезничаютъ съ унылымъ или угрюмымъ мусульманиномъ, я впадаю въ искушеніе... Я знаю - этотъ европейскій Петръ Ивановичъ, или эта французская Агафья Сидоровна дѣлаютъ это не совсѣмъ спроста; боюсь до смерти, что у нихъ, хотя полусознательно, но мелькаютъ въ умѣ: газеты, западное общественное мнѣніе, «вотъ мы какіе милые и цивилизованные!» Тогда какъ, по настоящему, надобно сказать себѣ: «какое намъ дѣло до того, что о насъ думаетъ Европа?» —Когда же мы это поймемъ!

И такъ, говорю я, любовь къ людямъ можетъ быть прежде всего двоякая: *нравственная или сострадательная*, и *эстетическая* или *художественная*. Нерѣдко, я сказалъ,

онѣ дѣйствуютъ смѣшанно. Въ рѣчи г. Достоевскаго, по поводу Пушкина, эти два чувства совершенно разнородные, и въ жизненной практикѣ чрезвычайно легко-отдѣлимые, вовсе не различены. А это очень важно. Лермонтовъ и другіе кавказскіе офицеры, сражаясь противъ черкесовъ и убивая ихъ, восхищались ими, и даже нерѣдко подражали имъ. Точно такое же отношеніе къ горцамъ мы видимъ и у старовѣровъ-козаковъ, описанныхъ гр. Львомъ Толстымъ. Этотъ же романистъ представилъ намъ примѣры подобныхъ двойственныхъ отношеній русскаго дворянства къ французамъ въ эпоху наполеоновскихъ войнъ. Черкесы эстетически нравились русскимъ, противникамъ своимъ. Русское дворянство времени Александра I-го восхищалось тогдашними французами, вредя имъ стратегически (а слѣдовательно и *лично*), на каждомъ шагу.

Рѣчь г. Достоевскаго очень хороша въ чтеніи, но тотъ, кто *видалъ самого автора*, и *кто слышалъ какъ онъ говоритъ*, тотъ легко пойметъ восторгъ, охватившій слушателей.... Ясный, острый умъ, вѣра, смѣлость рѣчи.... Противъ всего этого трудно устоять сердцу. Но возможно-ли строить новую, національную культуру на одномъ *добромъ* чувствѣ къ *людямъ* безъ особыхъ, опредѣленныхъ, въ одно и тоже время *вещественныхъ и мистическихъ*, такъ сказать, предметовъ вѣры, внѣ и выше этого человѣчества стоящихъ,—вотъ вопросъ?

Космополитизмъ православія имѣетъ такой Предметъ въ живой личности распятаго Іисуса. Вѣра въ божественность Распятаго при Понтійскомъ Пилатѣ назаретскаго плотника, Который училъ, что на землѣ все невѣрно и все не важно, все даже нереально, а дѣйствительность и вѣковѣчность настанетъ послѣ гибели земли и всего живущаго на ней: вотъ та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сихъ поръ исполинскій рычагъ христіанской проповѣди. Не полное и повсемѣстное торже-

ство любви и всеобщей правды на землѣ обѣщають намъ Христосъ и его апостолы; а, напротивъ того, нѣчто въ родѣ *неудачи* евангельской проповѣди на земномъ шарѣ, ибо *близость конца* должна совпасть съ послѣдними попытками сдѣлать всѣхъ хорошими христіанами...

«Ибо когда будутъ говорить: миръ и безопасность, тогда внезапно постигнетъ ихъ пагуба... и не избѣгнутъ (1-ое посл. къ Өессал. гл. 5, 3).

И еще:

«Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: берегитесь, чтобы кто не прельстилъ васъ.

«Ибо многіе прійдутъ подъ именемъ моимъ, и будутъ говорить: я Христосъ, и многихъ прельстятъ.

«Также услышите *о войнахъ и о военныхъ слухахъ*. Смотрите не ужасайтесь: *ибо надлежитъ всему тому быть;* но это еще не конецъ.

«*Ибо возстанетъ народъ на народъ, и царство на царство, и будутъ глады, моры и землетрясенія по мѣстамъ.*

Все же это начало болѣзней, (Еванг. отъ Матө. гл. XXIV 4, 5, 6, 7, 8).

«*И по причинѣ умноженія беззаконія, во многихъ охладѣетъ любовь.*

«Претерпѣвшій же до конца спасется. *И проповѣдано будетъ сіе Евангеліе Царствія по всей вселенной, во свидѣтельство всѣмъ народамъ; и тогда прійдетъ конецъ.*

«*И такъ, когда увидите мерзость запустѣнія реченную чрезъ пророка Даніила, стоящую на святомъ мѣстѣ* (*читающій да разумѣетъ*)... (Еванг. отъ Матө. гл. XXIV. 12, 13, 14, 15.

И такъ далѣе...

Даже г. Градовскій догадался упомянуть въ своемъ слабомъ возраженіи г. Достоевскому о пришествіи антихриста,

и о томъ, что Христосъ пророчествовалъ не *гармонію* всеобщую (миръ всеобщій), а всеобщее разрушеніе. Я очень обрадовался этому замѣчанію нашего ученаго либерала.

Хотя, видимо, г. Градовскій писалъ это съ улыбкой и хотѣлъ напоминаніемъ о «свѣтопреставленіи» уязвить христіанство; но это—какъ ему угодно, а указаніе на эту *существенную сторону христіанскаго ученія, здѣсь очень кстати*.

И такъ, пророчество всеобщаго примиренія *людей о Христѣ*, не есть православное пророчество, а какое-то; чуть-чуть не еретическое. Церковь этого мира не обѣщаетъ, а кто «преслушаетъ Церковь тебѣ тотъ пусть будетъ, какъ язычникъ и мытарь» (т. е. чуждъ тебѣ, какъ вредный своимъ примѣромъ человѣкъ; конечно, до тѣхъ поръ, пока онъ не исправится и не обратится).

Возвратимся къ европейцамъ... Прежде, напримѣръ, чѣмъ полюбить Гамбетту (худшаго, чѣмъ язычникъ, ибо язычникъ вѣритъ хоть въ демоновъ, которыхъ онъ считаетъ богами, а Гамбетта ни во что, кромѣ самого себя и своей республиканской Франціи, вѣроятно, не вѣритъ), или вообще европейскихъ либераловъ и радикаловъ, надо *бояться* Церкви.

Начало премудрости (т. е. настоящей вѣры). есть *страхъ*, а любовь—только *плодъ*. Нельзя считать плодъ корнемъ. а корень плодомъ. Тутъ даже кстати можно продолжить съ успѣхомъ именно это уподобленіе. Правда, плодъ, или часть плода (сѣмя), зарывается въ землю такъ, что оно становится невидимымъ и *перерождается* въ корень и другія части растенія. Въ такомъ смыслѣ, я могу полюбить даже и Гамбетту!.. Какимъ образомъ?... Очень простымъ. Говорятъ, что одинъ изъ самыхъ пылкихъ, и конечно, не робкихъ жирондистовъ (кажется Isnard), спасаясь отъ гильотины, пробылъ нѣсколько дней въ катакомбахъ, и отъ мученій *страха*, сталъ христіаниномъ. Вотъ если бы Гамбетта, вслѣдствіе какого-нибудь подобнаго

потрясенія, захотѣлъ бы «облечься во Христа», и питая уже съ дѣтства неискоренимую ненависть къ папизму,—пошелъ бы не къ іезуитамъ, а къ нашему, или греческому священнику и сказалъ бы: «отецъ мой, я понялъ теперь, что я ничего не понималъ до сихъ поръ. Я понялъ, что республика—вздоръ, что свобода—изношенная пошлость, что нація наша недостойна больше вниманія, и самъ себѣ я кажусь такъ глупъ и такъ низокъ, что умираю отъ стыда и тоски! Научите меня... Обратите меня... Я знаю, что христіанину необходимо *усиліе* воли и скромность ума передъ вашимъ ученіемъ... Я согласенъ принять все, даже и то, что мнѣ противно, и съ чѣмъ отвратительная отупѣлость моего разума, воспитаннаго вѣрой въ прогрессъ, согласиться не можетъ. Я въ принципѣ рѣшаюсь всякое сочувствіе этому смѣшному, либеральному разуму считать заблужденіемъ, ошибкой, tentation... и т. д.»... И мѵропомазался бы, и причастился бы, томясь духовной жаждой, на французскомъ своемъ языкѣ: «Вечери Твоея тайныя нынѣ причастника мя пріими... Не яко Іуда, но яко разбойникъ»... И взялъ бы просвирочку и подбиралъ бы съ *боязнью согрѣшить,* крошки на ладони своей, и сожалѣлъ бы, что въ *этотъ день* послѣ пріобщенія Св. Таинъ, уставъ не позволяетъ ему цѣловать десницу священника, сдѣлавшаго его православнымъ человѣкомъ изъ надменнаго республиканскаго пустозвона....

Вотъ въ такомъ случаѣ, я понимаю, что можно было бы полюбить Гамбетту всѣмъ сердцемъ, и всей душой, «какъ самаго себя»... Полюбить его въ одно и тоже время—и нравственно, и эстетически... Полюбить—и съ умственнымъ восхищеніемъ, и съ умиленіемъ сердечнымъ... Теперь же, каюсь, я, считая себя не менѣе кого-бы то ни было въ правѣ называться русскимъ человѣкомъ, при всей доброй волѣ моей, никакъ не могу ни умиляться, ни восхищаться, думая объ этомъ энергическомъ воздухоплавателѣ! А, онъ

еще самый крупный и занимательный, кажется, изъ нынѣшнихъ граждань самой европейской изъ нашей западной Европы.

Или возьмемъ примѣръ ближе. Трудно себѣ представить, чтобы который нибудь изъ нашихъ умѣренныхъ либераловъ „озарился свѣтомъ истины"... Но все таки представимъ себѣ обратный процессъ. Вообразимъ себѣ, что не страхъ довелъ котораго нибудь изъ нихъ, какъ Isnard'а, до премудрости, а премудрость довела до страха, рядомъ умозаключеній ясныхъ, но *не въ духѣ времени* (съ которымъ «живая» мысль принуждена считаться, но уважать который она вовсе не обязана). Трудно себѣ это представитъ, положимъ. Для того, чтобы *въ наше время* члену плачевной интилегенціи нашей стать тѣмъ, что зовется вообще мистикомъ,—надо иной калибръ ума, чѣмъ мы видимъ у подобныхъ профессоровъ и фельетонистовъ. Но положимъ.., положимъ что либералъ дошелъ, премудростію человѣческою, до страха Божія ... Вѣдь, я сказалъ уже: сила Господня и въ немощахъ нашихъ нерѣдко познается... Градовскіе и К° немощны,—но Богъ силенъ. Дошли они премудростью до страха, и смирились; живутъ въ томленіи кроткаго прозелитизма,... писать вовсе перестали.... Какъ бы они всѣ были бы тогда привлекательны и милы!... Сколько уважительнаго и теплаго снисхожденія возбуждали бы тогда эти скромные люди!...

Но теперь ихъ даже *не слѣдуетъ любить*,... мириться съ ними не должно! Имъ должно желать добра лишь въ томъ смыслѣ, чтобы они опомнились и измѣнились..., т. е. самаго *высшаго добра*, идеальнаго... А если ихъ поразятъ несчастія, если они потерпятъ гоненія, какую иную земную кару то этому роду зла, можно даже не много и порадоваться. въ надеждѣ на ихъ нравственное исцѣленіе Покойный митрополитъ Филаретъ находилъ, что жестокое тѣлесное наказаніе

преступниковъ чрезвычайно полезно для ихъ духовнаго настроенія, и потому они стоятъ за тѣлесное наказаніе.

И самъ г. Достоевскій почти во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, исполненныхъ такого искренняго чувства и любви къ человѣчеству, проводитъ почти ту-же мысль, быть можетъ и невольно, руководимый не разсчетомъ, а высокимъ инстинктомъ.

Наказанные преступники, убійцы, блудницы, продажныя и оскорбленныя женщины, у него такъ часто являются представителями самаго горячаго религіознаго чувства. Страданія, угрызенія совѣсти, страхъ, лишенія и оскорбленія, вслѣдствіе кары земнаго закона и личныхъ обидъ, открываютъ передъ умомъ ихъ иныя перспективы. А безъ преступленій и наказаній — они пребывали бы навѣрно въ пустой гордости, или звѣрской грубости... Безъ страданій, не будетъ ни вѣры, ни на вѣрѣ въ Бога основанной любви къ людямъ; а *главныя страданія въ жизни причиняютъ человѣку не столько природа, сколько другіе люди.* Мы нерѣдко видимъ напримѣръ, что больной человѣкъ, окруженый любовью и вниманіемъ близкихъ, испытаетъ самыя радостныя чувства; но едва-ли найдется человѣкъ здоровый, который былъ бы счастливъ тѣмъ, что его никто знать не хочетъ... Поэтому, и поэзія земной жизни, и условія загробнаго спасенія — одинаково требуютъ не *сплошной* какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы... а, говоря объективно, нѣкой *какъ бы гармонической*, *въ виду высшихъ цѣлей*, *борьбы вражды съ любовью*. Чтобы Самарянину было кого пожалѣть и кому перевязать раны, необходимы же были розбойники. Разумѣется, тутъ естественъ вопросъ: «кому же взять на себя роль разбойника, если это не похвально?» — Церковь отвѣчаетъ на это не *моральнымъ совѣтомъ*, *обращеннымъ къ личности*, а однимъ обще-историческимъ пророчествомъ. «*Будутъ разбойники*», думаетъ Церковь; она не говоритъ, конечно: «будь ты разбой-

никъ, чтобы доставить случай Самарянину обнаружить любовь». Она лишь говоритъ: «званныхъ много; *проповѣдано будетъ Евангеліе вездѣ*, *но избранныхъ будетъ мало* только *нудящіе себя* восходятъ въ Царствіе Небесное»: потому что самая добрая, кроткая, великодушная *натура* есть даръ *благодати*, даръ *Божій*. Намъ принадлежатъ только: *вѣра*, *усиліе*, *молитва противъ маловѣрія и слабости*, *презрѣніе къ себѣ и покаяніе.*

«Блаженъ претерпѣвшій до конца!»

Христосъ, повторяю, ставилъ милосердіе или доброту — *личнымъ идеаломъ*; Онъ не обѣщалъ нигдѣ торжества *поголовнаго братства на земномъ шарѣ*... Для такого братства необходимы прежде всего уступки со всѣхъ сторонъ. А есть вещи, которыя *уступать нельзя*.

II.

Мнѣнія Ө. М. Достоевскаго очень важны, не только потому, что онъ писатель даровитый, но еще болѣе потому что онъ писатель весьма вліятельный и даже весьма *полезный*.

Его искренность, его порывистый паѳосъ, полный доброты, цѣломудрія и честности, его частыя напоминанія о христіанствѣ — все это можетъ въ высшей степени благотворно дѣйствовать *(и дѣйствуетъ)* на читателей, особенно на молодыхъ *русскихъ* читателей. Мы не можемъ, конечно, счесть сколькихъ юношей и сколько молодыхъ женщинъ онъ отклонилъ отъ сухой *политической злобы нигилизма*, и настроилъ ихъ умъ и сердце совсѣмъ иначе; но вѣрно что такихъ очень много!

Онъ какъ будто говоритъ имъ безпрестанно между стро-

ками говоритъ отчасти и прямо самъ, повторяетъ устами своихъ дѣйствующихъ лицъ, изображаетъ драмой своей; онъ внушаетъ имъ: «не будьте злы и сухи. Не торопитесь перестроивать по своему гражданскую жизнь; займитесь прежде жизнью собственнаго сердца вашего; не раздражайтесь: *вы хороши и такъ какъ есть*; старайтесь быть еще добрѣе; любите, прощайте, жалѣйте, вѣрьте въ Бога и Христа; молитесь и любите. Если сами люди будутъ хороши, добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь станетъ несравненно сноснѣе, и самыя несправедливости и тягости этой гражданской жизни смягчатся подъ цѣлительнымъ вліяніемъ личной теплоты».

Такое высокое настроеніе мысли къ тому-же выражаемое почти всегда съ лиризмомъ глубокаго убѣжденія,—не можете не дѣйствовать на сердца. Въ этомъ отношеніи, къ г. Достоевскому можно приложить одно названіе, вышедшее нынче почти изъ употребленія,—онъ замѣчательный *моралистъ*. Слово моралистъ идетъ къ роду его дѣятельности и къ характеру вліянія, гораздо болѣе, чѣмъ названіе *публицистъ*, даже и тогда, когда онъ по способу изложенія, является не повѣствователемъ, а мыслителемъ и наставникомъ, какъ напр. въ своемъ восхитительномъ «Дневникѣ Писателя». Онъ занятъ гораздо болѣе *психическимъ строемъ лицъ*, чѣмъ *строемъ соціальнымъ*, которымъ всѣ нынче къ сожалѣнію, такъ озабочены. Человѣчество XIX вѣка какъ будто-бы отчаялось совершенно въ личной проповѣди; въ морализаціи прямо сердечной, и возложило всѣ свои надежды на передѣлку обществъ, т. е. на нѣкоторую степень *принудительности* исправленія. *Обстоятельства*, давленіе закона, судовъ, новыхъ экономическихъ условій принудятъ и пріучатъ людей стать лучше..... «Христіанство доказало тщетными усиліями вѣковъ, что одна проповѣдь личнаго добра не можетъ исправить человѣчества и сдѣлать землю жизнь покойной, и для всѣхъ равно справедливой и пріят-

ной. Надо измѣнить условія самой жизни,—а сердца *поневолѣ* привыкнутъ къ добру, когда зло *невозможно* будетъ дѣлать».

Вотъ та преобладающая мысль нашего вѣка, которая вездѣ слышится въ воздухѣ. Вѣрять въ *человѣчество*—въ *человѣка* не вѣрятъ больше.

Г. Достоевскій, повидимому, одинъ изъ немногихъ мыслителей, не утратившихъ вѣру въ *самаго человѣка*....

Нельзя не согласиться, что въ этомъ направленіи много независимости, а привлекательности еще больше....

Такимъ представляется дѣло, по сравненію съ одностороннимъ и сухимъ соціально-реформаторскимъ духомъ времени.

Но тоже самое—представляется совершенно иначе по отношенію къ христіанству.

Демократическій и либеральный прогрессъ вѣритъ больше въ исправность всецѣлаго человѣчества, чѣмъ въ нравственную силу лица. Мыслители или моралисты, подобные автору Карамазовыхъ, надѣются повидимому, больше на сердце человѣческое чѣмъ на переустройство общества. *Христіанство-же не вѣритъ ни въ то, ни въ другое, т. е. ни въ лучшую автономическую мораль лица, ни въ разумъ собирательнаго человѣчества, долженствующій рано или поздно создать рай на землѣ.*

Вотъ разница. Впрочемъ я, можетъ быть, дурно выразился словомъ: *разумъ*.... Чистый *разумъ*, или наука, въ дальнѣйшемъ развитіи своемъ, вѣроятно скоро откажется отъ той утилитарной и оптимистической тенденціозности, которая сквозитъ между строчками у большинства современныхъ ученыхъ и оставивъ это утѣшительное ребячество, обратится къ тому суровому и печальному пессимизму къ тому мужественному примиренію съ неисправимостью земной жизни, которое говоритъ: «Терпите! *Всѣмъ—лучше никогда не будетъ*. Однимъ будетъ лучше; другимъ станетъ хуже. Такое

состоянія, такія колебанія горести и боли — вотъ единственно возможная на землѣ *гармонія! И больше ничего* — не ждите; Помните и то, что всему бываетъ конецъ; даже скалы гранитныя вывѣтриваются, подмываются; даже исполинскія тѣла небесныя гибнутъ.... Если же человѣчество *есть* явленіе живое и органическое, то тѣмъ болѣе ему долженъ настать *когда-нибудь конецъ*. А если будетъ *конецъ*, то какая нужда намъ такъ заботиться о благѣ будущихъ, далекихъ, вовсе даже *непонятныхъ* намъ поколѣній? *Какъ мы можемъ мечтать о благѣ правнуковъ, когда мы самое ближайшее къ намъ поколѣніе сыновъ и дочерей вразумить и успокоить не можемъ?* Какъ можемъ мы надѣяться на *всеобщую нравственную или практическую правду*, когда самая *теоретическая истина, или разгадка* земной жизни, до сихъ поръ скрыта для насъ за непроницаемой завѣсой; когда и великіе умы и цѣлыя націи постоянно ошибаются, разочаровываются и идутъ совсѣмъ не къ тѣмъ цѣлямъ, которыхъ они искали? Побѣдители впадаютъ почти всегда въ тѣ самыя ошибки, которыя сгубили побѣжденныхъ ими, и т. д.... *Ничего нѣтъ вѣрнаго въ реальномъ мірѣ явленій.*

Вѣрно только *одно*, точно — *одно*, одно только *несомнѣнно*: — *Это то, что все должно погибнуть*! И потому на что эта забота о земномъ благѣ грядущихъ поколѣній? На что эти младенчески-болѣзненныя мечты и восторги! День нашъ — вѣкъ нашъ! И потому — *терпите* и заботьтесь практически лишь о ближайшихъ дѣлахъ, а сердечно, лишь о ближнихъ людяхъ: *именно — о ближнихъ, а не о всемъ человѣчествѣ*».

Вотъ та пессимистическая философія, которая должна рано или поздно, и вѣроятно, послѣ цѣлаго ряда *ужасающихъ разочарованій* лечь въ основаніе будущей науки.

Соціально-политическіе опыты ближайшаго грядущаго (которое по всѣмъ вѣроятіямъ, неотвратимо) — будутъ, конечно, первымъ и важнѣйшимъ камнемъ преткновенія для человѣ-

ческаго ума на ложномъ пути исканія общаго блага и «гармоніи». Соціализмъ, т. е. глубокій и насильственный экономическій и бытовой переворотъ, теперь видимо неотвратимъ, по крайней мѣрѣ *для нѣкоторой части человѣчества.*

Но, не говоря уже о томъ, сколько страданій и обидъ его воцареніе можетъ причинить побѣжденнымъ (т. е. представителямъ либерально-мѣщанской цивилизаціи), сами побѣдители, какъ бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймутъ что имъ далеко до благоденствія и покоя. *И это—какъ дважды два четыре*, вотъ почему: эти будущіе побѣдители устроятся *или свободнѣе*, либеральнѣе *насъ*, *или напротивъ того*; законы и порядки ихъ будутъ несравненно стѣснительнѣе нашихъ, строже, принудительнѣе, даже *страшнѣе*.

Въ послѣднемъ случаѣ, жизнь этихъ *новыхъ людей* должна быть гораздо тяжелѣе, болѣзненнѣе жизни хорошихъ, добросовѣстныхъ монаховъ въ строгихъ монастыряхъ, напримѣръ, на Аѳонѣ. А эта жизнь для знакомаго съ ней, очень тяжела (хотя имѣетъ, разумѣется и свои, совсѣмъ *особыя* утѣшенія).

Постоянный тонкій страхъ, постоянное неумолимое давленіе совѣсти, устава и воли начальствующихъ.... Но у аѳонскаго киновіата есть одна твердая и ясная, утѣшительная мысль, есть спасительная нить, выводящая его изъ лабиринта ежеминутной тонкой борьбы: *загробное блаженство*.

Будетъ-ли эта мысль утѣшительна для людей предполагаемыхъ экономическихъ общежитій? Этого мы не знаемъ.

Если-же та часть человѣчества, которая захочетъ испытать на себѣ *блаженство*(?) вовсе новыхъ, общественныхъ и экономическихъ условій, устроится *свободнѣе* нашего, то она будетъ повержена въ состояніе какъ бы признанной въ принципѣ и узаконенной анархіи, подобно южно-американскимъ республикамъ, или нѣкоторымъ городскимъ общинамъ

древней Греціи. Ибо соціальный переворотъ не станетъ ждать личнаго воспитанія, личной морализаціи всѣхъ членовъ будущаго государства, а захватитъ общество въ томъ видѣ, въ какомъ *мы его знаемъ теперь*. А въ этомъ видѣ, кажется, очень еще далеко до безстрастія, до незлобія, до общей любви и до правды, не закономъ навязанной, но бьющей теплымъ ключомъ прямо изъ облагороженной души!... Пусть бы хоть въ этой передовой странѣ, во Франціи, коммунисты подождали бы усиливаться до тѣхъ поръ, пока всѣ французы не станутъ хоть такими добрыми, умными и благородными, какъ герои Жоржъ-Санда. Однако — они этого ждать не хотятъ!...

Итакъ испытавши все возможное, *даже и вкусивъ соціалистическаго устройства*, передовое человѣчество должно будетъ неизбѣжно впасть въ глубочайшее разочарованіе; политическое же состояніе общества всегда отзывается и на высшей философіи, и на общемъ, полусознательномъ, въ воздухѣ бродящемъ міросозерцаніи; а философія высшая и философія инстинкта — равно отзываются, рано или поздно, на самой наукѣ.

Наука, поэтому, должна будетъ неизбѣжно принять тогда болѣе унылый, болѣе разочарованный, *пессимистическій*, какъ я сказалъ, *характеръ*. *И вотъ — гдѣ ея примиреніе съ положительной религіей*; вотъ гдѣ ея теоретическій тріумфъ: въ сознаніи своего практическаго безсилія, въ мужественномъ покаяніи и смиреніи передъ могуществомъ и правотою *сердечной* мистики и вѣры...

Вотъ о чемъ намъ, славянамъ, не мѣшало бы позаботиться! Это не противорѣчитъ прогрессу; напротивъ; если понимать прогрессъ мысли не въ духѣ непремѣнно пріятно-эгалитарномъ и любезно-демократическомъ, а въ значеніи *усовершенствованія* самой только *мысли*, то такое строгое и безотрадное отношеніе науки къ жизни земной, должно быть признано за огромный шагъ впередъ... «Ищите

утѣшенія въ чемъ «хотите; я Бога не навязываю вамъ; это «не мое дѣло я только говорю вамъ: не ищите утѣшенія въ «моихъ прежнихъ благотворительныхъ претензіяхъ, столь «глупо волновавшихъ прошедшій XIX-й вѣкъ. Я могу по-«могать вамъ только паллiативно». Вотъ что-бы должна говорить наука!

Вѣрно понятый, не обманывающій себя несбыточными надеждами реализмъ, долженъ, рано или поздно, отказаться отъ мечты о благоденствіи земномъ и отъ исканія идеала нравственной правды въ нѣдрахъ самаго человѣчества.

Положительная религія — точно также въ это благоденствіе и въ эту правду не вѣритъ.

Любовь, прощеніе обидъ, правда, великодушіе были и останутся на всегда только коррективами жизни, паллiативными средствами, елеемъ на неизбѣжныя и даже *полезныя* намъ язвы. Никогда любовь и правда не будетъ воздухомъ, которымъ бы тогда дышали, почти не замѣчая его... Именно — почти не замѣчая! Эд. Гартманъ справедливо говоритъ если бы идеальная цѣль (*т. е. благоденствіе*), преслѣдуемая прогрессомъ, когда бы то ни было осуществилась, то человѣчество достигло бы до степени *нуля* или *полнаго равнодушія* во всѣмъ отраслямъ своей дѣятельности. Но идеалъ останется всегда идеаломъ: человѣчество можетъ приближаться къ нему, никогда до него не достигая. Поэтому, человѣчество и не дойдетъ никогда до того состоянія *высокаго равнодушія*, къ которому оно постоянно стремится; оно вѣчно пребудетъ въ состояніи страданія еще болѣе низкаго порядка... (т. е. чѣмъ это *высокое равнодушіе*)...»

Развѣ такое тихое равнодушіе есть счастіе? Это не счастіе, а какой-то тихій упадокъ всѣхъ чувствъ, какъ скорбныхъ такъ и радостныхъ.

Я увѣренъ, что человѣкъ столь сильно чувствующій и столь *сердечно мыслящій*, какъ Ѳ. М. Достоевскій, говоря о «зданіи человѣческаго счастія», о «всечеловѣческомъ брат-

скомъ единеніи», объ «окончательномъ словѣ великой, общей гармоніи» и т. д., имѣетъ въ виду нѣчто болѣе горячее и привлекательное, чѣмъ та кроткая, душевная «Нирвана», на которую указывалъ Гартманъ. А горячее, самоотверженное, и нравственное, и привлекательное обусловливается непремѣнно болѣе или менѣе сильнымъ и нестерпимымъ *трагизмомъ жизни*... Доказательства этому можно найти въ множествѣ въ романахъ, самаго г. Достоевскаго. Возьмемъ «Преступленіе и Наказаніе»: Вспомнимъ потрясающее, глубокое впечатлѣніе, производимое изображеніемъ бѣднаго семейства Мармеладовыхъ. Нищета, пьяный, ни на что уже негодный отецъ, мать тщеславная, чахоточная, сердитая, почти безумная, но въ сердцѣ честная и до наивности прямая страдалица: дѣвушка, кроткая, милая, *вѣрующая* и *торгующая собой для пропитанія семьи*!... И когда эти люди проявляютъ, при всемъ этомъ, высокія качества души своей, глубоко потрясенный читатель тотчасъ-же понимаетъ, что эта теплота, эта «приниженность», этотъ родъ нравственнаго лиризма возможенъ именно при тѣхъ только буднично-трагическихъ условіяхъ, которыя избраны авторомъ. Тоже самое можно найти въ изобиліи и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ.»

Мы найдемъ это въ домѣ бѣднаго капитана, въ исторіи несчастнаго Илюши и его любимой собаки; мы найдемъ это въ самой завязкѣ драмы; читатель, уже и теперь, вникая въ неоконченный романъ, догадывается, что Дмитрій Карамазовъ не виновенъ въ убійствѣ отца, и пострадаетъ, вѣроятно, напрасно. И если догадки читателя справедливы, то онъ имѣетъ право ожидать впереди картинъ, исполненныхъ высокаго благородства и лиризма. Уже одно появленіе слѣдователей и первые допросы производятъ нѣчто подобное; они даютъ точасъ-же дѣйствующимъ лицамъ случай обнаружить побужденія высшаго нравственнаго порядка; такъ напр. лукавая, разгульная, и даже нерѣдко жестокая Груша, только

при допросѣ въ первый разъ чувствуетъ, что она этого Дмитрія истинно любитъ, и готова раздѣлить его горе и предстоящія, вѣроятно, ему карательныя невзгоды. Горести, обиды, буря страстей, преступленія, ревность, зависть, угнетенія, ошибки съ одной стороны, а съ другой—неожиданныя утѣшенія, доброта, прощеніе, отдыхъ сердца, порывы и подвиги самоотверженія, простота и веселость сердца! Вотъ *жизнь*, вотъ единственно возможная «на этой землѣ и подъ этимъ небомъ» *гармонія. Гармоническій законъ вознагражденія—и больше ничего* Поэтическое, живое согласованіе свѣтлыхъ цвѣтовъ съ темными,—*и больше ничего*!. Въ высшей степени цѣльная полу-трагическая, полу-ясная опера, въ которой грозные и печальные звуки чередуются съ нѣжными и трогательными—и *больше ничего*!

Мы не знаемъ, что будетъ на *той новой землѣ и на томъ новомъ небѣ*, которыя обѣщаны намъ Спасителемъ и Учениками его, по уничтоженіи *этой* земли *со всѣми* человѣческими *дѣлами ея*; но на *землѣ, теперь намъ извѣстной и подъ небомъ, теперь намъ знакомымъ*, всѣ хорошія наши чувства и поступки: любовь, милосердіе, справедливость и т. д., являются и *должны являться всегда* лишь тѣмъ *коррективомъ* жизни, тѣмъ *палліативнымъ леченіемъ язвъ*, о которыхъ я упоминалъ выше.

Теплота необходима для организма, но она единственнымъ матеріаломъ, ни единственной зиждущей силой для организма она быть не можетъ.

Нужны твердыя, *извнѣ стѣсненныя формы*, по которымъ эта теплота можетъ разливаться, не *видоизмѣняя ихъ даже и временно—слишкомъ глубоко*, а только дѣлая эти твердыя формы полнѣе и пріятнѣе.

Такъ говоритъ *реальный опытъ вѣковъ*, т. е. почти наука; вѣковой эмпиризмъ, не нашедшій себѣ еще матема-

тически-раціональнаго объясненія,—но и безъ него трезвому уму весьма ясный.

Также точно говоритъ Церковь. Такъ говорятъ Апостолы, такъ пророчитъ Евангеліе.

«Будутъ разбойники, будутъ Іуды; будутъ Ироды и равнодушные Пилаты!» и «*подъ конецъ*» не только не настанетъ всемірнаго братства, но именно *тогда то оскудѣетъ любовь*, *когда будетъ проповѣдано Евангеліе вовсѣхъ концахъ земли!*

И когда эта проповѣдь достигнетъ такъ сказать до предначертанной ей свыше точки насыщенія, и когда, *привскудѣнія*, даже и той же *любви* неполной, паллiативной, которая здѣсь возможна и дѣйствительна, люди станутъ вѣрить безумно въ «миръ и спокойствіе»,—*тогда-то и постигнетъ ихъ пагуба*... «*и не избѣгнутъ*!»...

А пока?

Пока «блаженны миротворцы»—ибо *неизбѣжны распри*...

«Блаженны алчущіе и жаждущіе правды»...

Ибо *правды здѣсь не будетъ*... Иначе зачѣмъ-же алкать и жаждать? Сытый не алчетъ. Упоенный не жаждетъ.

«Блаженны милостивые»,—ибо всегда будетъ кого миловать» униженныхъ и оскорбленныхъ» кѣмъ нибудь (тоже *людьми*), богатыхъ или бѣдныхъ, нищихъ собственныхъ оскорбителей, наконецъ!...

Такъ говоритъ церковь, совпадая съ *реализмомъ*, съ грубымъ и печальнымъ, но глубокимъ опытомъ вѣковъ. Такъ, повидимому, еще думалъ и самъ г. Достоевскій, когда писалъ о Мертвомъ Домѣ и создавалъ высокое и прекрасное, въ своей болѣзненной истинѣ, произведеніе «Преступленіе и Наказаніе».

Онъ тогда какъ будто хотѣлъ *только усилить* теплоту любви своимъ потрясающимъ вліяніемъ; онъ не мечталъ еще, повидимому, въ то время о *невозможной реально*, о

чуть не критической церковно—христа ллизаціи этой теплоты—въ формѣ зданія все—человѣческой жизни.

Въ «Бѣсахъ» —новая ступень его направленія стала замѣтнѣе. «Бѣсы» разложенія, бѣсы смутъ, злобы междоусобицы выйдутъ изъ *русскихъ людей*, и Россія какъ излѣченный бѣсноватый «сядетъ у ногъ Христа»...

Тутъ еще не совсѣмъ было понятно, что «Христосъ» значитъ почти тоже, что *земный эвдемонизмъ*, только *нѣсколько аскетическаго характера.*

Это было еще очень правильно и безусловно полезно, хотя и допускало въ скептическомъ умѣ сомнѣнія... Сомнѣнія не въ ученіи Христа и Церкви (избави Боже!), а весьма позволительное въ наше время сомнѣніе въ *великомъ и достойномъ будущемъ Россіи*!... Въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» ученіе—этого *земнаго эвдемонизма съ христіанскимъ* оттѣнкомъ, стало еще опредѣленѣе. Хорошіе монахи въ этомъ романѣ говорятъ не совсѣмъ то, и даже пожалуй и вовсе не то, что говорятъ обо *всемъ этомъ въ дѣйствительности тоже очень хорошіе монахи, и на Аѳонѣ, и у насъ:—и русскіе, и греческіе, болгарскіе монахи.*

И наконецъ, въ рѣчи на праздникѣ Пушкина, ученіе выяснилось вполнѣ: стало ясно, что и г. Достоевскій подобно великому множеству *европейцевъ* и рускихъ *всечеловѣковъ*, вѣритъ въ мирную и кроткую будущность Европы радуется тому, что намъ русскимъ, быть можетъ и скоро, придеться утонуть и расплыться безслѣдно въ безличномъ океанѣ космополитизма.

Именно безслѣдно! Ибо что мы принесемъ на этотъ (по моему скучный до отвращенія) *пиръ всемірнаго*, однообразнаго братства? Какой *свой*, ни на что чужое не похожій слѣдъ оставимъ мы въ средѣ этихъ *смѣшныхъ людей грядущаго*... «Толпой»... если не всегда угрюмою... то скоро, позабытой»...

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,—
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.

Было нашей націи поручено одно великое сокровище—строгое и неуклонное церковное Православіе; но наши лучшіе умы не хотятъ просто «смириться» передъ нимъ, передъ его «*исключительностью*» и передъ его *кажущейся сухостью*, которой всегда вѣетъ на романтически воспитанныя души отъ всего установившагося, правильнаго и твердаго... Они *предпочитаютъ «смиряться»* передъ ученіями антинаціональнаго эвдемонизма, въ которыхъ по отношенію къ Европѣ—даже и новаго нѣтъ ничего.

Всѣ эти надежды на земную любовь и на миръ земной, можно найти и въ пѣсняхъ Беранже, и еще больше у Ж. Санда... и у многихъ другихъ.

И не только имя Божіе, но даже и *Христово имя* упоминалось и на Западѣ по этому поводу, не разъ.

Слишкомъ *розовый* оттѣнокъ, вносимый въ христіанство г. Достоевскимъ, есть *новшество* по отношенію къ Церкви, отъ человѣчества ничего особенно благотворнаго въ будущемъ не ждущей; но этотъ оттѣнокъ не имѣетъ въ себѣ ничего, ни особенно русскаго, ни особенно новаго по отношенію къ преобладающей европейской мысли XVIII и XIX вѣковъ.

Пока г. Достоевскій въ своихъ романахъ говоритъ *образами* то несмотря на *нѣкоторую личную субъективность* всѣхъ этихъ образовъ, видно, что художникъ вполнѣ и болѣе многихъ изъ насъ—*русскій человѣкъ.*

Но, выдѣленная, извлеченная изъ этихъ русскихъ образовъ, изъ этихъ русскихъ обстоятельствъ, *чистая мысль*—оказывается, какъ почти у всѣхъ лучшихъ писателей нашихъ, вполнѣ европейскою по идеямъ и даже по происхожденію своему

Именно мыслей—то мы и *не бросаемъ до сихъ поръ вѣкамъ*!...

И размышляя объ этомъ печальномъ свойствѣ нашемъ, конечно легко повѣрить, что мы скоро расплывемся безслѣдно во *всемъ*, и во *всѣхъ*!

Быть можетъ—это такъ и нужно; но чему-же тутъ радоваться? Не могу понять!.... Не умѣю!

III

«И такъ (скажетъ мнѣ кто нибудь), вы позволяете себѣ отрицать не только возможность повсемѣстнаго «воцаренія правды» гармоніи и «благоденствія» на землѣ, но даже какъ будто противопологаете ихъ христіанству какъ вещи несовмѣстныя, изображаете ихъ чуть чуть не антитезами его... Вы забыли даже катехизисъ, въ которомъ всегда приводится текстъ: «Богъ любы есть»....

«Писатель, котораго вы сами высоко цѣните, и котораго вы въ началѣ предъидущаго письма назвали не только даровитымъ и вполнѣ русскимъ, но и весьма полезнымъ, шагъ за шагомъ, слово за словомъ, явился у васъ подъ конецъ того-же письма, человѣкомъ почти вреднымъ своими заблужденіями «*чуть чуть не еретикомъ*»!... Но чего-же вы хотите послѣ этого? Чего-же вы требуете отъ Россіи нашей, и отъ насъ самихъ?—

О воцареніи «правды» и «благоденствія» на землѣ, я не буду здѣсь много говорить, потому что по этому вопросу всѣ люди мнѣ кажется, раздѣляются очень просто—на расположенныхъ этому идеалу вѣрить, и на пожимающихъ только плечами при подобной мысли, противной одинаково и *реальнымъ законамъ природы*, и *всѣмъ главнымъ и вліятельнымъ изъ извѣстныхъ намъ положительныхъ религій*

Для убѣжденія первыхъ (т. е. вѣрующихъ въ «благоденствіе» и «правду»), нужно говорить долго и подробно, а это невозможно въ статьѣ или письмѣ, имѣющемъ спеціальную цѣль; вторые же (нерасположенные этому вѣрить), поймутъ меня и съ полу-слова. Это о всемірномъ «благоденствіи» и о человѣческой «правдѣ».

О «гармоніи», я постараюсь сказать особо, если успѣю, потому что слово «гармонія» — я понимаю, повидимому, иначе, чѣмъ г. Достоевскій и многіе другіе современники наши. Теперь же объяснюсь примѣромъ, кратко и мимоходомъ. Пушкинъ сопровождаетъ Паскевича на войну.... Присутствуетъ *при сраженіяхъ*.... *Много людей убито*, *ранено*, *огорчено и раззорено*.... Русскіе побѣдителями вступаютъ въ Эрзерумъ. Самъ поэтъ испытываетъ конечно, за все это время, множество *сильныхъ и новыхъ ощущеній*. Природа Кавказа и Азіатской Турціи, видъ *убитыхъ и раненыхъ*, *затрудненія и усталость* походной жизни, возможность *опасности*, которую Пушкинъ такъ рыцарски любилъ; удовольствія штабной жизни при торжествующемъ войскѣ; даже *незнакомое ему дотолѣ* наслажденіе восточныхъ бань въ Тифлисѣ.... Послѣ всего этого, или подъ вліяніемъ всего этого (въ томъ числѣ, и подъ вліяніемъ крови и тысячи смертей), Пушкинъ пишетъ какіе-нибудь прекрасные стихи въ восточномъ стилѣ.

Вотъ — *это гармонія*, примиреніе антитезъ, но не въ смыслѣ мирнаго и братскаго *нравственнаго согласія*, а въ смыслѣ поэтическаго и взаимнаго восполненія противуположностей, и *въ жизни самой*, и въ искусствѣ.

Борьба двухъ великихъ армій, взятая отдѣльно отъ всего побочнаго во всецѣлости своей — есть проявленіе «гармоніи»....

А если Бразильскій Императоръ сидитъ въ Петербургѣ за столомъ въ обществѣ русскихъ оріенталистовъ до того уже все восточное давно утратившихъ (положимъ), что ихъ

очень трудно отличить со стороны отъ любаго европейскаго бюргера, — то: это не только гармонія, сколько *униссонъ*, очень мирный *униссонъ*, немного скучный, немного деревянный и очень *безплодный*, т. е. на нравы и понятія *самихъ оріенталистовъ практически не дѣйствующій, ихъ болѣе восточными и оригинальными людьми не дѣлающій*. При такомъ пониманіи слова «гармонія», я не могу и говорить о ней въ смыслѣ вовсе не гармоническаго или неэстетическаго братства однообразныхъ народовъ будущаго, если бы я даже въ это братство имѣлъ право вѣрить—*и какъ реалистъ и какъ христіанинъ*.

Въ глазахъ реалиста, т. е. человѣка, не имѣющаго права дѣлать предсказанія безъ предъидущихъ, даже и приблизительныхъ примѣровъ, подобное благоденственное братство, доводящее людей даже до субъективнаго постояннаго удовольствія, не согласуется ни съ психологіей, ни съ соціологіей, ни съ историческимъ опытомъ Въ глазахъ христіанина, подобная мечта противорѣчитъ *прямому* и очень *ясному* пророчеству Евангелія объ ухудшеніи человѣческихъ отношеній *подъ конецъ свѣта*.

Братство *по возможности*—и гуманность, дѣйствительно рекомендуются Св. Писаніемъ Новаго Завѣта, для *загробнаго спасенія личной души;* но въ Св. Писаніи *нигдѣ не сказано, что люди дойдутъ посредствомъ этой гуманности до мира и благоденствія.—Христосъ намъ этого не обѣщалъ... Это неправда!* Христосъ приказываетъ, или совѣтуетъ всѣмъ любить ближнихъ *во имя Бога*; но съ другой стороны, Онъ же пророчествуетъ, что Его многіе не послушаютъ.

Вотъ въ какомъ смыслѣ гуманность ново-европейская и гуманность христіанская—являются несомнѣнно антитезами, даже очень трудно примиримыми—(или примиримыми *эстетически*, только въ области поэзіи, какъ *жизненной* такъ и *художественной*, т. е. въ смыслѣ *увлекательной и*

многосложной борьбы). Удивляться этому или ужасаться такой мысли—не слѣдуетъ. Это очень понятно, хотя и печально. Гуманность—есть идея *простая*; христіанство есть представленіе *сложное*. Въ христіанствѣ, между *многими другими* сторонами есть и гуманность или любовь къ человѣчеству «о Христѣ», т. е. не изъ насъ прямо истекающая, а *Христомъ даруемая*, *и Христа за ближнимъ провидящая*. *Отъ Христа*,—*и для Христа*. Гуманность-же простая «автономическая», шагъ за шагомъ, мысль за мыслью, можетъ вести къ тому сухому и самоувѣренному утилитаризму, къ тому эпидическому умопомѣшательству нашего времени, которое можно психіатрически назвать: mania democratica progressiva. Все дѣло въ томъ, что мы претендуемъ, *сами по себѣ*, безъ помощи Божіей, быть или очень добрыми, или, что еще ошибочнѣе быть полезными,—ибо я говорю ошибочнѣе, доброту еще свою, порывы искренней любви и милосердія, человѣкъ не можетъ не чувствовать;—это *фактъ невольнаго сознанія*. Но какъ быть увѣреннымъ—*въ пользѣ*, не только всѣмъ, но и многимъ? Спасая одного, я, можетъ быть, врежу кому-нибудь другому. Христіанство миритъ это легко именно тѣмъ, что съ одной стороны не вѣритъ въ прочность добродѣтелей нашихъ, а съ другой—долгое благоденствіе и покой души считаетъ вреднымъ. Оскорбителю оно говоритъ: «кайся; ты согрѣшилъ.» Оскорбленному внушаетъ:—«Эта обида тебѣ полезна; рукой неправеднаго человѣка наказалъ тебя Богъ; прости человѣку, и кайся передъ Богомъ».

Горе, страданіе, раззореніе, обиду—христіанство зоветъ даже иногда—*посѣщеніемъ Божіимъ*.

А гуманность простая хочетъ стереть съ лица земли эти *полезныя* намъ обиды, раззоренія и горести...

Въ этомъ отношеніи, христіанство и гуманность можно уподобить двумъ сильнымъ поѣздамъ желѣзной дороги, вышедшимъ сначала изъ однаго пункта, но которые, вслѣд-

ствіе постепеннаго уклоненія путей должны не только удариться другъ объ друга, но даже и прійти въ сокрушающе столкновеніе *).

Во всѣхъ катехизисахъ, правда, говорится о любви къ людямъ. Но во всѣхъ же катехизисахъ и въ подобныхъ имъ книгахъ, мы найдемъ также, что *начало премудрости* (т. е. религіозной и *истекающей изъ нея* житейской премудрости)—есть страхъ Божій», простой, *очень простой страхъ*, и загробной муки и другихъ наказаній, въ формѣ земныхъ истязаній, горестей и бѣдъ.

Отчего-же, г. Достоевскій не говоритъ *прямо* объ этомъ *страхѣ*? Не потому—ли, что *идея любви привлекательнѣе?* Любовь краситъ человѣка, а страхъ унижаетъ. Но во первыхъ, передъ христіанскимъ ученіемъ добровольное униженіе о Господѣ (т. е. то самое «смиреніе», которое такъ уважаетъ и г. Достоевскій) лучше и *вѣрнѣе для спасенія души*, чѣмъ эта гордая и невозможная претензія ежечаснаго незлобія и ежеминутной *елейности*. Многіе праведники предпочитали удаленіе въ пустыню *дѣятельной* любви; тамъ они *молились Богу сперва* за свою душу, а *потомъ* за другихъ людей; многіе изъ нихъ это дѣлали потому, что очень правильно не надѣялись на себя, и находили, что покаяніе и молитва, т. е. *страхъ и своего рода униженіе*—вѣрнѣе, чѣмъ претензія *мірскаго незлобія*, и чѣмъ *самоувѣренность дѣятельной любви* въ многолюдномъ обществѣ. Даже въ монашескихъ общежитіяхъ, опытные старцы не очень--то позволяютъ увлекаться дѣятельною и горячею любовью, а прежде всего учатъ *послушанію, приниженію пассивному прощенію обидъ*... И

*) Уподобленіе это принадлежитъ не мнѣ;—но оно такъ прекрасно, что я хотѣлъ непремѣнно воспользоваться имъ. Оно принадлежитъ Прево—Парадолю застрѣлившемуся въ Америкѣ. Онъ прилагалъ его къ Франція и Германія, еще до войны 1870 года, и предсказывалъ пораженіе своей отчизны.

Авт.

это все считается до невѣроятности труднымъ: въ особенности для тѣхъ людей, которые воображаютъ себя уже «смиренными» и въ «міру», собственными усиліями, для монастыря подготовленными. Случаями поразительнаго паденія этихъ духовныхъ Икаровъ, нерѣдко весьма искреннихъ и благородныхъ, наполнена исторія монашества отъ начала его и до нашего времени..

Да, прежде всего *страхъ*, потомъ «смиреніе», или прежде всего—*смиреніе ума*, презрительно относящагося не къ себѣ только одному, но и ко всѣмъ другимъ, даже и геніальнымъ человѣческимъ умамъ, безпрестанно ошибающимся.

Такое смиреніе, шагъ за шагомъ, ведетъ къ вѣрѣ и страху предъ именемъ Божіимъ, къ *послушанію ученію* Церкви, этого Бога намъ поясняющей. *А любовь—уже послѣ*. Любовь кроткая, себѣ самому пріятная, другимъ отрадная, всепрощающая—это плодъ, вѣнецъ, это или награда за вѣру и страхъ, или особый даръ благодати, *натурѣ* сообщенный, или случайными и счастливыми условіями воспитанія укрѣпленный. Какъ въ особый даръ благодати, я охотно вѣрю искренности и любви, когда дѣло идетъ, напримѣръ, о самомъ ораторѣ, т. е. о натурѣ высокоодаренной; но совсѣмъ другое я чувствую, когда я думаю о большинствѣ слушателей его, восхищавшихся, я увѣренъ *больше любовью къ Европѣ, чѣмъ любовью ко Христу и дѣйствительно къ ближнему*...

Есть, однако въ числѣ разныхъ и многочисленныхъ родовъ и оттѣнковъ человѣческой любви—одинъ особый родъ, который можетъ и невѣрующаго и не смиреннаго человѣка *своимъ* путемъ привести и къ вѣрѣ, и къ смиренію, а потомъ даже и къ той любви человѣчества о *Богѣ*, которыхъ достигали столь немногіе во всѣ времена, да и то приблизительно, подобно тому, какъ въ квадратурѣ круга,

приближается подвижной многоугольникъ къ полному и неподвижному кругу Божественной чистоты.

Но объ этой любви я не стану говорить своими словами. Прежде меня и лучше меня сказалъ о ней, почти въ одно время съ г. Достоевскимъ, другой русскій христіанинъ, въ рѣчи менѣе прославленной, но въ одномъ отношеніи болѣе *правильной*, чѣмъ рѣчь г. Достоевскаго.

Я говорю о К. П. Побѣдоносцевѣ... Почти въ то самое время, когда въ Москвѣ такъ шумно праздновали память Пушкина, ѣли, пили, убирали памятникъ вѣнками, рукоплескали, плакали, и даже падали въ обморокъ, радуясь что мы, наконецъ—то «созрѣли», или вѣрнѣе—*перезрѣли* до того, что намъ остается только заклать себя на алтарѣ всечеловѣческой (т. е. просто европейской) демократіи, этотъ русскій христіанинъ, о которомъ я вспомнилъ, одинъ, по должности своей, счастливо совпадающей съ его чувствами и призваніемъ, посѣтилъ далекую Ярославскую Епархію, и тамъ, на выпускѣ, въ училищѣ для дочерей священно и церковно-служителей, состоявшемъ подъ покровительствомъ въ Бозѣ почившей Императрицы, сказалъ слово, которое «Московскія Вѣдомости» по справедливости назвали прекраснымъ и возвышеннымъ, и которое я бы желалъ назвать *благородно смиреннымъ*.

Вотъ отрывки изъ этой рѣчи. Сперва г. Побѣдоносцевъ говоритъ о томъ—какъ поминать покойную ихъ Покровительницу:

«Она сама завѣщала всѣмъ любящимъ *Ее-поминать Ее на литургіи, когда приносится безкровная Жертва на Престолѣ Господнемъ*» ...

...... «До послѣднихъ дней жизни она поминала съ глубокой признательностью тѣхъ, кто ввелъ Ее въ Церковь и показалъ *Ей нашу церковную красоту. Любите вы выше всего на свѣтѣ нашу Святую Церковь, такъ*

какъ любитъ человѣкъ, однажды узнавши, верховную красоту, и ничѣмъ не хочетъ премѣнять на нее.....

И еще:

«Только чрезъ Церковь можете вы сойтись съ народомъ— просто и свободно, и войти въ его довѣріе».

Потомъ·

«Одно прочно: простыя дѣла милосердія—алчущаго напитать, жаждущаго напоить, нагаго одѣть, а выше всего темную душу освѣтить свѣтомъ богопомазанія, холодную согрѣть огнемъ любви -- вотъ дѣла, которыя пойдутъ вслѣдъ за нами».

Въ чемъ же разница между этими двумя рѣчами, одинаково прекрасными въ ораторскомъ отношеніи?

И тамъ »Христосъ»—и здѣсь «божественный Учитель». И тамъ, и здѣсь—«любовь и милосердіе»? Не все ли равно? Нѣтъ, разница большая, разстояніе неизмѣримое...

Во первыхъ въ рѣчи г. Побѣдоносцева. Христосъ познается не иначе какъ *черезъ Церковь любите прежде всего Церковь*. Въ рѣчи г. Достоевскаго, Христосъ повидимому, до того помимо Церкви доступенъ всякому изъ насъ, что мы считаемъ себя вправѣ, даже не справясь съ азбукой катихизиса, т. е. съ самыми *существенными* положеніями и *безусловными* требованіями православнаго ученія, приписывать Спасителю никогда не высказанныя имъ обѣщанія «всеобщаго братства народовъ», «повсемѣстнаго мира» и «гармоніи».

Во вторыхъ — о «милосердіи и любви». И тутъ, для внимательнаго ума, — большая разница. »Милосердіе» г. Побѣдоносцева—это *только* личное милосердіе....и «любовь» г. Побѣдоносцева—это именно та непретендательная любовь къ «ближнему», именно къ *ближнему ближайшему, къ встрѣчному*, къ тому кто подъ рукой,—милосердіе къ *живому, реальному* человѣку, котораго слезы мы видимъ, котораго стоны и вздохи мы слышимъ, которому руку мы

можемъ пожать дѣйствительно, какъ брату въ *этотъ часъ*.... У г. Побѣдоносцева, нѣтъ и намека на собирательное и отвлеченное человѣчество, котораго многообразныя желанія противоположныя потребности, другъ друга борющія и исключающія, мы и представить себѣ не можемъ даже и въ настоящемъ, не только въ лицѣ грядущихъ поколѣній....

У г. Побѣдоносцева—это такъ ясно: любите Церковь, ея ученіе, ея уставы, обряды, *даже догматы* (да, даже *сухіе* догматы можно, благодаря *вѣрѣ*, любить до нельзя!) Будетъ вамъ *пріятна церковь*, или (скажемъ проще) понравится вамъ ходить почаще къ обѣднѣ, или посѣщать *внимательно* манастыри,—вы захотите лучше понять ученіе; понявши ученіе—будете, *по мѣрѣ силъ вашей натуры*, жить по христіански или по крайней мѣрѣ понимать все по христіански, какъ понимать по христіански столь дурно *жившей мытарь*.—Церковь скажетъ вамъ вотъ что: не претендуйте постоянно пылать и пылать любовью... Дѣло вовсе не въ вашихъ высокихъ порывахъ, *которыми вы восхищаетесь*. Дѣло, напротивъ того, въ покаяніи и въ униженіи ума. Не берите *на себя лишняго*, не возноситесь все этими высокими и высокими порывами, въ которыхъ кроется часто столько гордости, тщеславія, честолюбія. Будьте свободолюбивы, если вамъ угодно, на почвѣ политической (хотя и это не совсѣмъ правильно, ибо Апостолъ говоритъ, что даже иновѣрному и несправедливому начальству надобно повиноваться) но, ради Бога, на почвѣ религіозной, учитесь скромно у Церкви и даже еще проще и прямѣе говоря, учитесь у русскаго духовенства, у этого сословія столь несовершеннаго и нравственно и умственно. Оно весьма несовершенно — это правда; быть можетъ; оно по условіямъ историческаго воспитанія вышло суше, грубѣе, хуже, тупѣе насъ, *по дворянски* воспитанныхъ мірянъ—это правда.... Но оно *занято ученіе* Церкви, и даже (путей у Бога много!) самая эта

сухость его могла располагать его сопротивляться порывистымъ новшествамъ. И еще: развѣ для горячихъ порывовъ необходимы только новшества? Или развѣ Православіе еще недостаточно у насъ забыто и въ свѣтскомъ обществѣ, и въ ученомъ, чтобы стать опять новымъ и увлекательнымъ?... Прекрасный сосудъ не разбитъ еще, не расплавленъ до тла на пожирающемъ огнѣ европейскаго прогресса. Вливайте въ него утѣшительный и укрѣпляющій напитокъ вашей образованности, вашего ума, вашей личной доброты... И *только*!

Повидимому, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рѣчи своей, г. Достоевскій говоритъ почти въ томъ же смыслѣ, въ исключительно личномъ. Въ этихъ мѣстахъ, онъ является *по прежнему* вполнѣ христіаниномъ; только христіаниномъ *чего-то ясно и прямо недоговорившимъ*, *и что-то другое лишнее*, вмѣстѣ съ тѣмъ, *пересказавшимъ*.

Напримѣръ:

«Смирись, гордый человѣкъ, и прежде всего сломи свою гордость! Смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудись на родной «нивѣ»... «Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ; найди себя въ себѣ, подчини себя себѣ, овладѣй собой, и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не внѣ тебя и не за моремъ гдѣ-нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя,—и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь великое дѣло, и *другихъ свободными сдѣлаешь*, *и узришь счастье*, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его. Не у цыганъ и нигдѣ—*міровая гармонія*, если ты первый самъ ея недостоинъ, злобенъ и гордъ, и требуешь жизни даромъ, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить».

Не договорено тутъ малости, *не упомянуто о самомъ существенномъ,—о Церкви.*

Пересказано лишнее — о міровой гармоніи.

Но оставимъ эту гармонію, о которой я уже говорилъ, и которая испортила, по моему, все прекрасное дѣло Ѳ. М. Достоевскаго. Посмотримъ лучше, что такое это смиреніе передъ «народомъ», передъ его «вѣрой и правдой», которому и прежде многіе насъ учили.

Въ этихъ словахъ: *смиреніе передъ народомъ* (или какъ будто передъ мужикомъ въ спеціальности), есть нѣчто очень сбивчивое и отчасти ложное. Въ чемъ и смиряться передъ простымъ народомъ—скажите? Уважать его тѣлесный трудъ?... Нѣтъ; всякій знаетъ, что не объ этомъ рѣчь: это само собою разумѣется, и это умѣли понимать и прежде, даже многіе изъ рабовладѣльцевъ нашихъ. Подражать его нравственнымъ качествамъ?... Есть, конечно, очень хорошія... Но не думаю, чтобы семейныя, общественныя и вообще *личныя*, въ тѣсномъ смыслѣ, качества нашего простолюдина были бы всѣ ужь такъ достойны подражанія. Едва ли нужно подражать ихъ сухости въ обращеніи съ страдальцами и больными, ихъ немилосердой жестокости въ гнѣвѣ, ихъ пьянству, расположенію столь многихъ изъ нихъ къ постоянному лукавству и даже воровству... Конечно, не съ этой стороны совѣтуютъ намъ передъ нимъ «смириться». Надо учиться у него «смиряться» *умственно, философски смиряться*, *понять*, что въ его *міровоззрѣніи больше истины*, чѣмъ въ нашемъ...

Ужь одно то хорошо, что нашъ простолюдинъ Европы не знаетъ, и о благоденствіи общемъ не заботится: когда мы, въ стихахъ Тютчева, читаемъ о долготерпѣніи русскаго народа, и задумавшись, внимательно, спрашиваемъ себя: «въ чемъ же именно выражается это долготерпѣніе?» то, разумѣется, понимаемъ, что не въ одномъ физическомъ трудѣ, къ которому народъ такъ привыкъ, что ему долго быть безъ него показалось-бы и скучно (кто изъ насъ не встрѣчалъ, напримѣръ, работницъ и

кормилицъ въ городахъ, скучающихъ по пашнѣ и сѣнокосу)?... Значитъ не въ этомъ дѣло. Долготерпѣніе и смиреніе русскаго народа выражались и выражаются отчасти въ охотномъ повиновеніи властямъ, иногда несправедливымъ и жестокимъ, какъ всякія земныя власти, отчасти въ преданности ученію Церкви, ея установленіямъ и обрядамъ· Поэтому, смиреніе передъ народомъ для отдающаго себѣ ясный отчетъ въ своихъ чувствахъ,—есть ничто иное какъ *смиреніе передъ той самой Церковью*, *которую совѣтуетъ любить г. Побѣдоносцевъ*.

И эта любовь гораздо осязательнѣе и понятнѣе, чѣмъ любовь *ко всему человѣчеству*,—ибо отъ насъ зависитъ узнать: чего хочетъ и что требуетъ отъ насъ эта Церковь. Но чего завтра пожелаетъ не только все человѣчество, но хоть бы и наша Россія, утрачивающая на нашихъ глазахъ даже прославленный иностранцами государственный инстинктъ свой, — этого мы понять не можемъ навѣрно. У Церкви—есть *свои незыблемыя правила* и есть *внѣшнія формы*, тоже свои собственныя, особыя, ясныя, видимыя. У русскаго общества,—нѣтъ теперь ни своихъ правилъ, ни *своихъ* формъ!...

Любя Церковь, знаешь чѣмъ, такъ сказать, «угодить» ей. Но какъ угодить человѣчеству.... когда входящіе въ составъ его милліоны людей, между собою не только не согласны, но даже и *несогласимы во вѣкъ!*...

Эта вѣчная несогласимость нисколько не противорѣчитъ тому стремленію къ однообразію въ идеяхъ, воспитаніи и правахъ, которое мы видимъ теперь повсюду. *Сходство правъ и воспитанія—только уравниваетъ претензіи*, *не уменьшая противоположности интересовъ*, и потому, только усиливаетъ возможность столкновенія.

Любить Церковь—это такъ понятно!

Любить-же *современную* Европу, такъ жестоко преслѣдующую даже у себя Римскую Церковь, Церковь все таки

великую и Апостольскую, несмотря на глубокія *догматическія заблужденія свои*—это просто *грѣхъ*!

Отчего-же въ нашемъ обществѣ и въ *безъидейной* литературѣ нашей, не было замѣтно сочувствія ни къ Пію IX, ни къ кардиналу Ледоховскому, ни къ западному монашеству вообще, теперь вездѣ столь гонимому? Вотъ бы въ какомъ случаѣ могли бы совмѣститься и христіанское чувство, и художественное, и либеральное.

Ибо, съ одной стороны католики—это единственные представители христіанства на Западѣ (и объ этомъ прекрасно писалъ тотъ самый Тютчевъ, который хвалилъ долготерпѣніе русскаго народа); съ другой—истинная гуманность, живая, непосредственная, не можетъ относиться только къ работнику и раненному солдату. Человѣкъ высокаго званія, оскорбляемый и гонимый толпою, полководецъ побѣжденный, подобно Бенедеку, или Османъ-пашѣ, можетъ пробудить очень живое и глубокое чувство почтительнаго состраданія въ сердцахъ неиспорченныхъ односторонними демократическими «сентиментами»!

А поэзіи, конечно, въ Папѣ и Ледоховскомъ – больше, чѣмъ въ этомъ честномъ и ужасно скучномъ Грэви, или въ дерзкомъ и дюжинномъ парижскомъ работникѣ.

Я думаю, Пушкинъ, если бы прожилъ дольше то былъ бы и за Папу и Ледоховскаго, и даже за Донъ Карлоса... Революціонная современность претворяетъ въ себя постепенно всю ту старую и поэтическую, разнообразную Европу, которую нашъ поэтъ такъ любитъ, и любилъ конечно, не нравственно-доброжелательнымъ чувствомъ, а прежде всего художественнымъ, какимъ-то пантэистическимъ...

Я вспоминаю одну отвратительную картинку въ какой-то иллюстраціи, кажется, въ «Cartenlaude». Сельскій мирный ландшафтъ, кусты, вдали роща, у рощи, скромная церковь (католическая). На первомъ планѣ политепажа крестный ходъ. Старушки набожныя, крестьяне безъ шляпъ;

въ позахъ и на лицахъ, именно то «смиреніе», которое и въ нашемъ простолюдинѣ, въ подобныхъ случаяхъ, насъ трогаетъ. Впереди—сельское духовенство съ хоругвями. Но эти добрые, эти «смиренные передъ Христомъ» люди, не могутъ дойти до Его храма. Поѣздъ желѣзной дороги остановился зачѣмъ то на рельсахъ, и шлагбаумъ закрытъ. Имъ нужно долго ждать или обходить далеко. Прямо въ лицо священникамъ, опершись на перила вагона, равнодушно глядитъ какой-то бородатый блузникъ...

Политипажъ былъ видимо составленъ съ насмѣшкой и злорадствомъ...

О! какъ ненавистно показалось мнѣ спокойное и даже красивое лицо этого блузника!

И какъ мнѣ хочется теперь въ отвѣтъ на странное восклицаніе г. Достоевскаго: «О, народы Европы и не знаютъ какъ они намъ дороги!».... воскликнуть не отъ лица всей Россіи, но гораздо скромнѣе, прямо отъ моего лица и отъ лица немногихъ мнѣ сочувствующихъ: — «О! какъ мы ненавидимъ тебя, *современная Европа*, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое, и уничтожаешь, и у насъ, несчастныхъ, столько драгоцѣннаго своимъ заразительнымъ дыханіемъ!»..

Если такого рода ненависть «грѣхъ»..., то я согласенъ остаться весь вѣкъ при такомъ грѣхѣ, рождаемомъ любовью къ Церкви.... Я говорю къ Церкви, даже и католической, ибо, еслибъ я не былъ православнымъ, то желалъ бы, конечно, лучше быть вѣрующимъ католикомъ, чѣмъ эвдимонистомъ и либералъ-демократомъ!!!... ужъ это слишкомъ мерзко.

Страхъ Божій и любовь къ человѣчеству, по поводу разсказа гр. Л. Н. Толстого «Чѣмъ люди живы»?

I.

Это небольшое произведеніе графа Толстого было, какъ извѣстно, напечатано прежде въ журналѣ «Дѣтскій Отдыхъ», а потомъ вышло особую книжкою съ очень хорошими гравюрами г. Шервуда и, наконецъ издано недавно дешевою брошюрою, безъ рисунковъ «Обществомъ Распостраненія *въ народѣ*, вѣроятно?) Полезныхъ Книгъ». Для тѣхъ, кто случайно не прочелъ еще этого разсказа, мы передадимъ здѣсь въ двухъ словахъ.

Это исторія Ангела, наказаннаго Богомъ за ослушаніе. Наказаніе состояло въ томъ, что Ангелъ сдѣлался на время человѣкомъ и человѣкомъ нагимъ, безпомощнымъ и ничего не имущимъ. Раздѣтаго до нага, полузамершаго и голоднаго юношу нашелъ около часовни «построенной для Бога»; бѣдный деревенскій сапожникъ. Онъ привелъ его къ себѣ въ избу, гдѣ жена его Матрена очень дурно ихъ встрѣтила и долго бранила. Наконецъ, когда мужъ сказалъ ей: «Матрена, али въ тебѣ Бога нѣтъ? Помирать будемъ!» Матрена утихла и накормила обоихъ. Ангелъ послѣ этого прожилъ у сапожника долго и сталъ отличнымъ мастеромъ. Богъ велѣлъ Ангелу быть человѣкомъ до тѣхъ поръ, пока онъ не узнаетъ три слова: «что есть въ людяхъ, и чего не дано людямъ, и чѣмъ люди живы?» Три случая изъ жизни человѣческой заставили Ангела понять всѣ отвѣты на эти задачи Божіи. «Въ людяхъ есть любовь», это Ангелъ узналѣ изъ того, что мужикъ увидавъ его голаго у часовни ночью, рѣшился его одѣть и взять съ собою, послѣ минутнаго колебанія и страха. Второй отвѣтъ: не дано людямъ знать, чего имъ для своего тѣла нужно, Ангелъ узналъ по слѣ-

дующему случаю. Пріѣхалъ толстый, богатый баринъ заказываетъ себѣ дорогія сапоги «чтобы годъ не кривились, не поролись». Заказалъ себѣ богачъ сапоги на годъ, но выходя ударился о низкую дверь и въ возкѣ дорогою, сейчасъ же умеръ. И еще узналъ Ангелъ третій отвѣтъ? «что живъ каждый человѣкъ не заботой о себѣ, а любовью». Этотъ послѣдній и главный отвѣтъ Ангелъ понялъ именно по поводу, того обстоятельства, за которое онъ былъ Богомъ наказанъ за *ослушаніе*. Но ослушаніе Ангела произошло отъ необдуманнаго движенія свойственной любви. Ангелу не приписано какое-нибудь чувство. Онъ согрѣшилъ только *нѣсколько гордымъ милосердіемъ*, если можно такъ выразиться. Подъ вліяніемъ состраданія онъ на минуту забылъ страхъ Божій и вздумалъ быть милостивѣе самаго Бога. Богъ послалъ его взять душу бѣдной одинокой крестьянки, которая только-что родила двухъ дѣвочекъ. Несчастная стала просить Ангела, чтобы онъ не бралъ отъ нея душу, потому что сиротъ нѣкому будетъ выкормить и обдумать. Ангелъ послушался ея и за это наказанъ. Богъ все-таки послалъ его назадъ взять душу родильницы и при этомъ, она умирая, упала на одну изъ дѣвочекъ и вывернула ей ногу такъ, что она осталась навсегда хромою. Самъ же Ангелъ за это самое проявленіе любви и сдѣланъ былъ на время безпомощнымъ человѣкомъ. Предъ концемъ его житія у сапожника пришла къ нимъ хорошо одѣтая женщина съ двумя дѣвочками. «Дѣвочки въ шубкахъ, въ платочкахъ ковровыхъ; одна въ одну, разузнать нельзя. Только у одной лѣвая ножка покороче: идетъ, приподаетъ». Женщина пришла заказать дѣвочкамъ кожаные башмачки. Потомъ женщина разговорилась и стала разсказывать: «годовъ шесть, говоритъ тому дѣло было, въ одну недѣлю обмерли сиротки эти: отца во вторникъ похоронили, а мать въ пятницу померла. Остались обморушки эти отца трехъ деньковъ, а мать и дня не прожила. Я въ

эту пору съ мужемъ въ крестьянствѣ жила. Сосѣди были, дворъ объ дворъ жили. Отецъ ихъ мужикъ одинокій былъ, въ рощи работалъ. Да уронили дерево какъ-то на него, его поперекъ прихватило. Все нутро выдавило. Только довезли, онъ отдалъ Богу душу, а баба его въ недѣлю и роди двойню,— вотъ этихъ дѣвочекъ. Бѣдность, одиночество, одна баба была, ни старухи, ни дѣвченки.

«Одна родила, и померла.

«Пошла я на утро провѣдать сосѣдку; прихожу въ избу, а она сердечная ужъ и зыстыла.

«Да какъ помирала, завалилась на дѣвочку. Вотъ эту задавила — ножку вывернула. Собрался народъ, обмыли, опрятали, гробъ сдѣлали, похоронили. Все добрые люди. Остались дѣвченки однѣ. Куда ихъ? А я изъ бабъ одна съ ребенкомъ была. Первонькаго мальчика восьмую недѣлю кормила. Взяла ихъ до времени къ себѣ. Собрались мужики, думали, думали, куда ихъ дѣть, да и говорятъ мнѣ: «ты, Марья, подержи покамѣстъ дѣвченокъ у себя, а мы, дай срокъ, ихъ обдумаемъ». А я разокъ покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала. Не чаяла ей живой быть. Да думаю себѣ, за что ангельская душка млѣетъ, жалко стало и ту. Стала кормить, да такъ-то одного своего да этихъ двухъ, троихъ грудью и выкормила. Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько, Богъ далъ, въ грудяхъ было, что зальются бывало. Двоихъ кормлю бывало, а третья ждетъ. Отвалится одна, третью возьму. Да такъ Богъ привелъ, что этихъ выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше Богъ дѣтей не далъ. А достатокъ прибавляться сталъ. Вотъ теперь живемъ здѣсь на мельницѣ у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая: а дѣтей нѣтъ. И какъ бы мнѣ жить одной, кабы не дѣвченки! Какъ же мнѣ ихъ не любить! Только у меня и воску въ свѣчѣ, что онѣ».

«Прижала къ себѣ женщина одною рукой дѣвочку хромень-

кую, а другою рукой стала со щекъ слезы стирать, и вздохнула. Матрена и говоритъ: «Видно пословица не мимо молвится: безъ отца-матери проживутъ, а безъ Бога не проживутъ».

«Говорятъ онѣ такъ промежъ себя, и вдругъ какъ зарница освѣтила всю избу отъ того угла, гдѣ сидѣлъ Михайла. Оглянулись всѣ на него и видятъ: сидитъ Михайла, сложивъ руки на колѣнкахъ, глядитъ вверхъ, улыбается».

Таково содержаніе этой прекрасной повѣсти. Высокое, трогательное и мѣстами слегка забавное; изящное и грубое, все это сплетается одно съ другимъ, смѣняетъ другъ друга точно такъ же, какъ бываетъ въ дѣйствительной жизни, вѣрно понятой и прочувствованной.

Если бы въ этой повѣсти *направленіе мысли* было на столько же широко и разносторонне при твердомъ единствѣ христіанскаго духа, насколько богато ея содержаніе при высокой простотѣ и сжатости формы, то я бы рѣшился назвать эту повѣсть святою, и геніальною. Но *христіанская мысль* автора не равносильна, ни его *личному*, мѣстами потрясающему лиризму, ни его искренности, ни совершенству той художественной формы, въ которую эта несовершенная и односторонняя мысль воплотилась на этотъ разъ.

При такомъ видимо преднамѣренномъ *освѣщеніи* картины, какое мы видимъ въ разсказѣ «*Чѣмъ люди живы*», разсказъ этотъ только милъ и трогателенъ, но *не святъ*. Онъ прекрасенъ, но высшей геніальности въ немъ вовсе нѣтъ. Чтобы сдѣлать эту мысль мою болѣе понятною, я долженъ объяснить здѣсь, какъ именно понимаю я оба слова—*святость* и *геніальность*. Сперва о святости. Святость я понимаю такъ, какъ понимаетъ ее церковь. Церковь не признаетъ святымъ ни крайне добраго и милосердаго, ни самаго честнаго, воздержнаго и самоотверженнаго человѣка, если эти качества его не связаны съ ученіемъ Христа, Апостоловъ и *Св. Отцовъ* (непремѣнно!), если эти добродѣтели не основаны на этой тройственной совокуп-

ности. Основы вѣроученія, твердость этихъ основъ въ душѣ нашей важнѣе для церкви, чѣмъ всѣ *прикладныя* къ земной жизни нашей добродѣтели, и если говорится, что «вѣра безъ дѣлъ мертва», то это лишь въ томъ смыслѣ, что *при сильной вѣрѣ* у человѣка, самаго порочнаго по природѣ или несчастнаго по воспитанію, будутъ все-таки и *дѣла*; дѣла *покаянія*, дѣла *воздержанія*, дѣла *принужденія* и дѣла *любви*... Вѣра безъ дѣлъ мертва въ *настоящемъ*, положимъ у злаго человѣка, потому что она не одолѣла еще его страстей и слабостей, но *рано или поздно*, если она есть въ умѣ и сердцѣ, она принесетъ плоды дѣлъ; *дѣла же безъ вѣры*, плоды нравственные безъ корней вѣроученія — это — или плоды гордости душевной, результаты благородно настроеннаго *самомнѣнія* и тщеславія, или врожденныя свойства доброй натуры и результаты хорошаго первоначальнаго воспитанія; *не нами* дана *намъ натура*, а Богомъ; и *не мы сами себя* съ дѣтства *воспитываемъ*, а люди и обстоятельства *по смотрѣнію Божію*. Все это недостаточно намъ, *вѣра* одна доступна всякому, если онъ не откажется отъ *смиренія* и не будетъ *стыдиться страха*... Высшіе плоды вѣры, напримѣръ, постоянное, почти *ежеминутное* расположеніе любить ближняго или никому недоступны, или доступны очень немногимъ, однимъ по особаго рода благодати прекрасной *натуры*; другимъ, — вслѣдствіе многолѣтней, молитвенной борьбы съ дурными наклонностями. *Страхъ же доступенъ* всякому: и сильному, и слабому; страхъ *грѣха*, страхъ *наказанія* и *здѣсь* и *тамъ*, за могилой... И стыдиться страха Божія просто смѣшно; кто допускаетъ Бога, тотъ долженъ его бояться, ибо силы слишкомъ не соизмѣримы! Кто боится, тотъ смирится; кто смиряется, тотъ ищетъ *власти* надъ собою власти видимой, осязательной; онъ начинаетъ любить эту власть духовную *мистически*, такъ сказать, оправданную предъ умомъ его. Страхъ Божій,

страхѣ грѣха, страхъ наказанія и т. п. уже потому не можетъ унижать насъ даже и въ житейскихъ нашихъ отношеніяхъ, что онъ ведетъ къ вѣрѣ, а крѣпко утвержденная вѣра дѣлаетъ насъ смѣлѣе и мужественнѣе противъ всякой тѣлесной и земной опасности: противъ враговъ личныхъ и политическихъ, противъ болѣзней, противъ звѣрей и всякаго насилія... Вотъ отчего всѣ Святые Отцы и учители церкви согласно утверждали, что *«начало* премудрости (т. е. правильное пониманіе нашихъ отношеній къ Божеству и людямъ) есть *страхъ* Божій; иные прибавляли еще: *«плодъ* же его *любы»*. Другими словами та любовь къ людямъ, которая не сопровождается страхомъ предъ Богомъ (или *предъ церковнымъ ученіемъ*—все равно), не зиждется на немъ, этимъ страхомъ иногда даже не отсѣкается (какъ случилось у наказаннаго ангела графа Толстаго)—такая любовь не есть чисто христіанская; не смотря на всю свою видимую превлекательность, на искренность порывовъ, не смотря даже на несомнѣнную практическую пользу, истекающую для страдальцевъ земныхъ отъ дѣйствій такой любви. Такая любовь, *безъ смиренія и страха* предъ положительнымъ вѣроученіемъ, горячая, искренняя, но въ высшей степени *своевольная*, либо тихо и скрытно гордая, либо шумно тщеславная, исходитъ не прямо изъ ученія Церкви; она пришла къ намъ не такъ давно съ Запада; она есть самодовольный плодъ *антропопатріи*, новой вѣры въ *земнаго человѣка* и въ земное человѣчество; въ идеальное, *самостоятельное*, *автономическое* достоинство *лица* и въ высокое практическое назначеніе всего человѣчества здѣсь на землѣ. Любовь безъ страха и смиренія есть лишь одно изъ проявленій (положимъ даже наиболѣе симпатичное) того *индивидуализма*—того обожанія правъ и достоинства личности, которое воцарилось въ Европѣ съ конца XVIII вѣка и уничтоживъ въ людяхъ вѣру въ нѣчто высшее отъ нихъ не зависящее, заставивъ людей забыть

страхъ и стыдиться смиренія, привело на край революціонной пропасти всѣ тѣ западныя общества, въ которыхъ эта *антрополатрія* пересилила любовь и вѣру въ святость Церкви и въ священныя права государства и семьи. *Не новымъ* держатся нынѣшнія общества; а только тѣмъ, что въ нихъ еще не погибло *все старое*, укрѣпившееся вѣками подъ вліяніемъ вѣроученія, т. е. *смиренія и страха*. Обманчивая, односторонне понятая любовь и уваженіе къ земному человѣчеству, къ его земному счастію, къ его земнымъ правамъ, его практическому равенству,—еще неуспѣли вполнѣ и вездѣ вытравить любовь и уваженіе къ авторитету той или другой христіанской церкви, къ Богопомазанной власти, къ родительскому праву не только uti, но иногда и abuti, по немощи человѣческой.

Любовь къ человѣчеству самовольная, чисто-утилитарная, ничѣмъ не сдержанная и не направленная, есть односторонность и ложь.

Одинъ изъ глубокомысленнѣйшихъ учителей церкви (V или VI вѣка).—Исаакъ Сирійскій, выражается такъ въ одномъ изъ своихъ поученій: «Многая простота *есть удобопревратна*... *) Что это такое? Языкъ перевода очень трудный и оригинальный. Самыя мысли Исаака Сирина иногда очень тонки и сложны. Можно легко ошибиться и не такъ сразу понять его слова. Быть можетъ и эти строки имѣютъ иное значеніе, чѣмъ то, которое я желалъ бы имъ придать; но во всякомъ случаѣ эта мысль «излишняя простота *удобопревратна*» (т. е. ненадежна, легко измѣняетъ направле-

---

*) Вотъ это мѣсто: „Многая простота есть удобопревратна: *страха* убо потребно есть человѣческому естеству, да *предѣлы послушанія* еже къ Богу сохранить. *Любы* же я же ко Богу подвижетъ въ вожделѣнію *дѣланія добродѣтелей* и тою восхищается къ дѣламъ добродѣтели. *Духовный разумъ* вторый есть естествомъ (т. е. послѣдуетъ естественно за) *дѣланія добродѣтелей*. *Предваряетъ же обоя страхъ и любы. И паки предваряетъ любовь страхъ*. (Слово 5-е стр. 27. Св. Исаак. Сир. *Словія духовно-подвижническія*").

ніе) очень пригодна и къ тому вопросу, который занимаетъ насъ теперь.

Излишняя простота основы, крайняя односторонность пріема, неестественная односложность идеала не тверды; «удобопревратны» въ томъ смыслѣ, что приводятъ иногда совсѣмъ не къ тому концу, котораго можно было ожидать.. Такъ напримѣръ, эта очень простая, односторонне-своевольная, гордо-болѣзненная любовь къ человѣчеству, шагъ за шагомъ въ иныхъ сердцахъ (особенно юныхъ), превращеніе за превращеніемъ, можетъ очень легко довести до забвенія всѣхъ другихъ сторонъ христіанскаго ученія; даже до ненависти къ нимъ, къ этимъ «сухимъ и какъ бы унизительнымъ *скучнымъ* сторонамъ», до ненависти къ покорности, къ смиренію, къ страху, къ воздержанію. На этой же степени *превращенія* — до кроваваго нигилизма, до звѣрствъ всеразрушенія, остается уже мало поприща. Кто смѣлѣе, кто злѣе, кто безсовѣстнѣе, нерѣдко даже кто глупѣе—тотъ готовъ.

Вотъ какъ «удобопревратна» простота этой любви, не нуждающейся *ни въ страхѣ*, *ни въ смиреніи*. Такая любовь хотя нерѣдко и ведетъ свое начало отъ *привычекъ* христіанской мысли (еще носящейся въ воздухѣ), но приводитъ на простомъ пути своемъ къ самымъ антихристіанскимъ результатамъ, и потому тотъ, кто пишетъ о любви будто бы христіанской, не принимая другихъ основъ вѣроученія, есть не христіанскій писатель, а врагъ христіанства самый обманчивый и самый опасный, ибо онъ сохранилъ отъ христіанства только то, что можетъ принадлежать и такъ-называемому демократическому лжепрогрессу въ дѣйствительномъ духѣ котораго нѣтъ и тѣни христіанства, а все сплошь враждебно ему.

Христосъ не обѣщалъ намъ въ будущемъ воцаренія *любви и правды на этой землѣ*, нѣтъ! Онъ сказалъ что «подъ конецъ оскудѣетъ любовь»... Но мы лично должны творить

дѣла любви, если хотимъ себѣ прощенія и блаженства *въ загробной жизни*—вотъ и все.

Въ этотъ смыслѣ, повторяю, разсказъ графа Толстого, пожалуй—православный и даже если взять въ разсчетъ сочетаніе *приблизительной* правильности съ высокою простотой и съ пламеннымъ чувствомъ, вырывающимъ иногда у читателя слезы (напримѣръ въ приведенномъ мною отрывкѣ о дѣвочкахъ двойняхъ), то можно бы позволить себѣ назвать этотъ дивный разсказъ и очень полезнымъ. «*Чѣмъ люди живы*» повѣсть, я не скажу вполнѣ, а довольно *правильная* въ церковномъ смыслѣ и нестолько по тому, что она имѣетъ явною *цѣлью любовь*, сколько по тому, что *основаніемъ* она имѣетъ *страхъ и смиреніе*.

Ангелъ *наказанъ* Богомъ за *непокорность*, за самовольное, «революціонное», такъ сказать, состраданіе. Превращенный въ голоднаго, нагаго и озябшаго юношу, онъ ищетъ убѣжища у *часовни Божіей*, то есть, у мѣста *покаянія* и *молитвы*, которыя *безъ страха* и *смиренія* просто не мыслимы. Онъ инстинктивно жмется къ этой *неутилитарной* святынѣ, на сооруженіе и украшеніе которой люди, вѣроятно, истратили деньги, пригодныя на пропитаніе и тѣлесное утѣшеніе многимъ другимъ человѣкамъ. Мужикъ Семенъ видитъ голаго человѣка все у той же *часовни* и конечно страхъ Божій беретъ въ немъ верхъ надъ страхомъ человѣческимъ при видѣ неизвѣстнаго и нагаго странника, при мысли о недовольствѣ жены, и объ ея брани за то, что привелъ бродягу.

Матрена, жена его, дѣйствительно вышедшая по этому случаю изъ себя, внезапно смягчается и становится доброй послѣ возгласа мужа:

«*Помирать будемъ!*». *Память смерти*, (то есть одно изъ главныхъ проявленій страха Божія) пробудило въ ней забытое чувство любви.

Богатый баринъ, который заказывалъ дорогіе прочные

сапоги и не обнаруживалъ (по крайней мѣрѣ въ избѣ сапожника) ни смиренія, ни страха, какъ бы наказанъ внезапною смертью дорогой въ возкѣ.

Итакъ съ этой стороны, со стороны присутствія всѣхъ началъ повѣсть графа Толстого какъ будто правильна. Въ ней есть *все*, что нужно: вѣра въ личнаго Бога не только милующаго, но и карающаго; вѣра въ возможность чудеснаго, исключительнаго, сверхчеловѣческаго; частыя напоминанія сверхчеловѣческаго напоминанія о неизбѣжномъ ужасѣ смерти, о тяготахъ, *неисправимо* земной жизни присущихъ; есть много страха, есть покаяніе (ангела и Матрены) и, разумѣется, много любви.

Есть, говорю я, *всѣ* основы; но какъ *сочетались* онѣ между собою въ умѣ автора—это другой вопросъ? Правильно-ли ихъ взаимное соотношеніе? Химія, напримѣръ, насъ учитъ, что изъ однихъ и тѣхъ же элементовъ составляются весьма различныя тѣла, смотря по количественнымъ отношеніямъ и по предполагаемому расположенію невидимыхъ частицъ... Что освѣщено ярче у графа Толстого? Что ему кажется лучшимъ, и главнымъ, и существеннымъ? Что въ этомъ разсказѣ принадлежитъ собственно *его мысли*, его тенденціи и что въ немъ сорвалось видимо случайно, благодаря художественнымъ потребностямъ великаго изобразительнаго таланта? Вотъ все это мнѣ хотѣлось бы разъяснить и разобрать съ той строгостью, которую имѣемъ мы право прилагать къ произведеніямъ графа Толстого. Люди поставленные особымъ Божьимъ даромъ на ту степень славы, на которой стоитъ творецъ *Войны и Мира*, должны помнить, что всякая книга, изданная ими, всякая статья, ими подписанная можетъ судиться, не только какъ произведеніе мысли и поэзіи, но и какъ *нравственно-гражданскій поступокъ*. Христіанское смиреніе не требуетъ какого-то притворнаго игнорированія своихъ силъ и своего вліянія. Такъ могутъ думать только дураки, ничего въ христіанствѣ не пони-

мающіе. Смиреніе не мѣшаетъ сознавать даже и геній свой, какъ не запрещаетъ оно человѣку сознавать силу мышцъ своихъ, или силу молодаго здоровья. Оно велитъ только помнить, что если Богъ далъ талантъ, то онъ отниметъ его завтра, прекратитъ его дѣйствія; что всякая особая сила есть въ тоже время и немощь, или, точнѣе говоря, источникъ особыхъ немощей, и вообще, что «на всякаго мудреца довольно простоты». Посмотримъ-же, въ чемъ на этотъ разъ графъ Толстой, несомнѣнно «мудрый», оказался нѣсколько наивнымъ простецомъ. И наивность его въ добавокъ еще оказывается не совсѣмъ полезною и доброкачественною.

II.

И такъ Ангелъ, наказанный *за слишкомъ смѣлое* проявленіе *своевольной любви*, другими словами, за то, что любовь одинъ разъ только взяла у него верхъ надъ *вѣрой* въ Промыслъ, надъ *страхомъ* и покорностью, наконецъ прощенъ, и восхищенъ на небо унося съ собою убѣжденіе, что нужна *только одна любовь*, и больше ничего!

Странная логика! Не Ангела, конечно, а графа Толстого! Такъ сильно пострадать за одно ослушаніе отъ «Бога отмщеній» и, ни *слова* не упоминая о страхѣ и смиреніи предъ *непонятнымъ*, утверждать только, что «Богъ любы есть».

Не правъ-ли былъ Св. Исаакъ Сирійскій, говоря, что многая простота удобопревратна есть!

До того удобопревратна эта односторонность, что и самый сильный умъ при ней путается и теряетъ логическую нить, потому только, что взялъ ее не за тотъ конецъ, за который нужно было, чтобы выйти на настоящій свѣтъ Божій!

Во главѣ разсказа поставлено восемь эпиграфовъ.

Вотъ они всѣ:

Мы знаемъ, что мы перешли изъ смерти въ жизнь, потому что любимъ братьевъ: не любящій брата пребываетъ въ смерти. (I посл. Іоанн. III, 14).

А кто имѣетъ достатокъ въ мірѣ, но, видя брата своего въ нуждѣ, затворяетъ отъ него сердце свое: какъ пребываетъ въ томъ любовь Божія? (III, 17).

Дѣти мои! станемъ любить не словомъ, или языкомъ, но дѣломъ и истиною (III, 18).

Любовь отъ Бога и всякій любящій рожденъ отъ Бога, и знаетъ Бога. (IV, 7).

Кто не любитъ, тотъ не зналъ Бога, потому что Богъ есть любовь (IV. 8).

Бога никто никогда не видѣлъ. Если мы любимъ другъ друга, то Богъ въ насъ. (IV. 12).

Богъ есть любовь и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ и Богъ въ немъ. (IV. 16).

Кто говоритъ: я люблю Бога, а брата своего ненавидитъ, тотъ лжецъ: ибо не любящій брата своего, котораго видитъ, какъ можетъ любить Бога, котораго не видитъ? (IV. 20).

Восемь эпиграфовъ и всѣ только о любви и всѣ изъ *одного* перваго посланія ап. и ев. Іоанна!

«Многая простота»!

Отчего-же-бы не взять и другихъ *восемь* о наказаніяхъ, о страхѣ, о покорности властямъ, родителямъ, мужу, *господамъ*, — о проклятіяхъ непокорнымъ, гордымъ, невѣрующимъ... Все это найдемъ мы въ обиліи и у евангелистовъ, и въ посланіяхъ. Если Богъ у графа Толстого аллегорія, или условное выраженіе только для названія чего-то не живаго, для обозначенія какой-то отвлеченной общей сущности, которую какъ нѣчто въ своемъ родѣ фактическое не отрицаютъ и сами матеріалисты, то, конечно, можно брать изъ евангелія и апостоловъ только тѣ, что намъ нравится. Но если Богъ у графа Толстого есть *хри-*

ствующій Богъ, то есть Троица, которой Второе Лице воплотилось въ назаретскаго плотника Іисуса, то *все* безъ исключенія: переданное намъ евангелистами и апостолами (которымъ дано право «разрѣшать и связывать»), *одинаково свято и равно обязательно*. Петръ апостолъ поэтому не хуже апостола Іоанна, Іоаннъ не ниже Павла, Іуда равенъ Іакову.

Они всѣ отвѣчали, смотря по обстоятельствамъ, на тѣ сложные вопросы, которые по очереди предлагала имъ развивающаяся (то есть: *осложняющаяся*) христіанская жизнь. Они были «мудры яко зміи», по повелѣнію Божію; ибо простота *ума*, односложность логическаго мотива для христіанина вовсе не обязательны, обязательна *простота сердца*, то есть: доброта, искренность, покорность Богу и такъ называемой «судьбѣ» своей, послушаніе *пастырямъ церкви*, начальникамъ, и т. д.... И въ нѣкоторыхъ характерахъ и при иныхъ условіяхъ общественнаго положенія, это христіанское упрощеніе *сердца* достигается только при помощи весьма сложной работы вѣрующаго и, главное, *смиряющагося* ума. Конечно, такіе характеры и такія общественныя условія существовали и въ апостольскія времена, и апостолы писали *разное о разномъ и для разныхъ*, а не разное объ одномъ и томъ же и для однихъ и тѣхъ же! Разнообразное содержаніе посланій объединено достаточно вѣрой во Христа и его ученіе. Мысль Христа, не мѣняясь ни чуть, разлагается въ посланіяхъ подобно единому солнечному лучу въ радугѣ, или призмѣ на главные основные цвѣта; въ дальнѣйшемъ же ученіи церкви уже болѣе подробномъ и ясномъ, въ постановленіяхъ соборовъ и въ свято-отеческихъ твореніяхъ, эта единая (но вовсе не *простая*) мысль реализируется въ еще болѣе сложныхъ оттѣнкахъ и смѣшеніяхъ *этихъ же самыхъ* красокъ. Ученіе, развиваясь, развѣтвляясь, доходя до самыхъ ясныхъ и разнородно-крайнихъ выводовъ изъ единаго начала (*Божественности Іисуса*) становится по этому все болѣе и болѣе

понятно въ частныхъ случаяхъ въ приложеніи къ жизни. Но сердечное пониманіе этой сложности требуетъ прежде всего *покорности ума*, покорности и тому, что намъ кажется даже сухимъ или жесткимъ, или непріятнымъ и не возбуждаетъ *сейчасъ* тѣхъ порывовъ горячей искренности, безъ которой намъ какъ-то скучно, вслѣдствіе романтической избалованности нашей. «А кто преслушаетъ церковь, тотъ да будетъ тебѣ какъ язычникъ и мытарь», сказалъ Самъ Спаситель. Чего же больше? Этимъ повелѣніемъ мы обязуемся принимать спокойной, сухой, если хотите, *вѣрой ума*, даже безъ всякихъ *пріятныхъ* порывовъ сердца, *все* ученіе церкви, обязуемся даже *располагать* въ умѣ своемъ *элементы* его именно въ томъ *порядкѣ*, въ какомъ располагаетъ ихъ церковь, напримѣръ: «Начало премудрости страхъ Божій (или *страхъ передъ ученіемъ церкви*, это все равно), плодъ же его любовь», т. е. та правильная и естественная любовь, которая человѣку на землѣ доступна и больше которой требовать невозможно, не впадая въ ошибку многихъ прогрессистовъ, воображающихъ, что несовершенство соціальнаго строя и плохое воспитаніе *до сихъ поръ* мѣшало какому-то удивительному катаклизму грядущаго любвеобилія... Нѣтъ! кто вѣритъ и готовъ *смиряться* предъ ученіемъ церкви, тотъ скоро узнаетъ, до чего трудно и хорошему по природѣ человѣку бороться *ежедневно* противу сухости, лѣни, утомленія, своекорыстія, досады, гордости и т. д., до чего всѣ эти грѣхи свойственны намъ и *всегда будутъ* свойственны. Нашей гордости хочется вѣрить въ полную исправимость человѣчества на этой землѣ; намъ обидно, что самые лучшіе люди такъ немощны. Но Христосъ сказалъ, что человѣчество *неисправимо въ общемъ смыслѣ*; Онъ сказалъ, что подъ конецъ оскудѣетъ любовь, т. е. со временемъ ея будетъ еще меньше, чѣмъ теперь... и потому давать совѣты любви нужно только съ цѣлью *единоличнаго* вознагражденія за

гробомъ, а не въ смыслѣ сплошнаго улучшенія земной жизни человѣчества. Любовь къ *ближнему*, основанная *на всецѣломъ* вѣроученіи, на *любви къ церкви*, вотъ настоящая *христіанская* любовь! Любовь же своевольная, основанная только на порывахъ собственнаго сердца, есть очень симпатичная вещь, но она до того «удобопревратна», что можетъ, какъ я повѣрилъ, дойти даже и до любви *къ революціи*...

Сознавалъ-ли все это графъ Толстой, когда писалъ: «Чѣмъ люди живы?» и отвѣчалъ на этотъ вопросъ «одною любовью?» Было-ли его личное самосознаніе равносильно въ этомъ случаѣ его художественному творчеству? Едва-ли. Еслибъ онъ все это понималъ и еслибъ сила и ясность христіанскаго мышленія въ немъ равнялась бы изяществу и силѣ его *поднимающаго* творчества, то онъ не поставилъ бы такихъ однородныхъ *восьми* эпиграфовъ, а перемѣшалъ бы съ другими особаго иного оттѣнка.

Я могу, конечно, ошибаться; но сдается мнѣ, что авторъ просто самъ просмотрѣлъ, что свою повѣсть правильнѣе его тенденціи; мнѣ кажется, онъ не сознавалъ, что даже и *его* любовь основана *прежде* всего на *послушаніи и страхѣ*, такъ какъ Ангелъ былъ наказанъ именно за *любовь своевольную*...

Понялъ ли графъ, что геніальный повѣствователь въ немъ выручилъ на этотъ разъ весьма *несовершеннаго мыслителя?*.. Едва ли.

Еслибъ онъ желалъ быть строго вѣренъ церковному *святоотеческому* христіанству, то онъ освѣтилъ бы нравственные элементы своей повѣсти равномѣрнѣе, «и страхъ Божій не остался бы у него до такой степени въ тѣни, что надо его *искать*...

Вѣроятно, онъ не имѣлъ въ виду строго держаться святоотеческихъ преданій въ направленіи своемъ, а желалъ проповѣдывать *свое*!.. Освѣтить ярче то, что ему больше нра-

витея; въ чемъ онъ находитъ больше поэзіи и отрады... Иначе, повторяю, и эпиграфы были бы *разные* и освѣщеніе фактовъ равномѣрнѣе... Но пусть будетъ такъ; пусть въ этомъ «новомъ» христіанствѣ будетъ особый, почти исключительно нѣжно-розовый оттѣнокъ! Но вотъ вопросъ: *свое* ли оно у графа? *Ново* ли оно? Поражаетъ ли оно кого-нибудь геніальною оригинальностью?

Нѣтъ; оно не *свое*, оно *не ново*, оно вовсе не геніально — это новоизобрѣтенное «розовое» христіанство!

Мы его знаемъ давнимъ давно! — Оно проповѣдывалось Ж. Зандомъ, С. Симонистами и множествомъ другихъ западныхъ европейскихъ писателей, проповѣдуется и у насъ анти-православными органами печати... Это христіанство принимаетъ у каждаго свой оттѣнокъ и переходитъ иногда (совершенно неожиданно для кроткихъ наставниковъ) въ дѣйствія злобы и разрушенія у тѣхъ изъ ихъ послѣдователей, которые завистливѣе, рѣшительнѣе, грубѣе ихъ или больше ихъ чѣмъ-нибудь въ жизни обижены. Геніальное должно быть непремѣнно *свое* и *новое*; а у графа Толстого ново и, пожалуй, геніально въ этомъ дѣлѣ только то, что великій оригинальный и *русскій* художникъ, вопреки весьма дюжинному *обще-европейскому сентиментализму*, спасъ самое *содержаніе* повѣсти, дополнивъ въ ней (вѣроятно, *нечаянно*) то, чего бы ей не доставало безъ этого въ строгого христіанскомъ смыслѣ.

Если же я ошибся и проповѣдникъ *строгій* преднамѣренно скрылся за проповѣдникомъ *сладкимъ*, т. е. ярко освѣтилъ и дѣйствіемъ и особенно эпиграфами — любовь, а таинственный *страхъ* скрылъ нарочно въ полумракѣ, съ цѣлью примѣниться къ «духу времени» и съ помощью «елея любви» легче ввести въ души желѣзо смиренія и страха, то это еще хуже! Это значило бы «перехитрить» и не достигнуть цѣли, ибо любовь приписывается въ повѣсти очень обыкновеннымъ людямъ и *всякому* это ясно;

а наказанію за ослушаніе подвергся *Ангелъ* и «высоко образованные» наши читатели могутъ счесть все это лишь за «поэтическую красоту», или, говоря современнымъ языкомъ интеллигентнаго *снисхожденія*, за «очень милую аллегорическую подробность въ *наивно-простонародномъ* духѣ»... Но это прескверно! Лучше ужь сдѣлать тотъ *промахъ*, о которомъ я говорилъ...

Къ тому же всѣмъ извѣстно, что гр. Толстой на «духъ времени» никогда не обращалъ особаго вниманія, и желалъ быть всегда отъ него независимымъ; такъ что, если онъ, какъ проповѣдникъ и мыслитель, предпочелъ на этотъ разъ быть почти рабомъ обще-европейскаго сентиментальнаго лжехристіанства, вмѣсто того, чтобы стараться быть смиреннымъ сыномъ истинной Церкви, то это тоже, видимо, вышло безсознательно только потому, что стать первымъ нынче очень легко; а чтобы сдѣлаться или пребыть вторымъ, нужно гораздо больше условій...

Въ послѣднемъ случаѣ и процессъ мышленія, и процессъ нравственнаго труда надъ собою, долженъ быть гораздо болѣе сложный и сильный...

Что сила мышленія христіанскаго у графа Толстого стоитъ въ этой восхитительной по изложенію повѣсти не на одномъ уровнѣ съ силой художественнаго выраженія, это видно особенно изъ одного эпизода.

Я говорю о богатомъ *баринѣ*, который заказалъ сапоги на годъ, а умеръ тотчасъ же въ возкѣ.

Баринъ, правда, командуетъ нѣсколько грубо и рѣзко, онъ, видимо, не вѣритъ честности русскихъ мастеровыхъ. И въ этомъ невѣріи онъ, конечно, правъ. И Семенъ, хотя и самъ человѣкъ честный, вѣроятно, знаетъ, что баринъ, вообще говоря, имѣетъ основанія плохо вѣрить въ прочность русской работы. Онъ за тонъ этотъ и не сердится... Но что говорятъ они оба съ женой, когда этотъ толстый, сильный и богатый, привыкшій къ власти человѣкъ вы-

шелъ изъ избы, «ударившись нечаянно головой о низкую дверь»?.. Что они *жалѣютъ* его? Что имъ стало *страшно* за голову этого человѣка, который вреда имъ никакого не сдѣлалъ, а, напротивъ того, доставилъ имъ случай выгоднаго труда... О нѣтъ! Они злобно и грубо завидуютъ его здоровью, его силѣ, его богатству!..

Вотъ ихъ противный разговоръ:

Отъѣхалъ баринъ. Семенъ и говоритъ:

— Ну ужъ кремнястъ! Этого долбней не убьешь. Косякъ головой высадилъ, а ему горя мало.

А Матрена говоритъ:

— Съ житья такого какъ имъ гладкимъ не быть! Этого закленá и смерть не возметъ.

Какія это чувства? Хорошія? Христіанскія? Нѣтъ, конечно. Изъ подобныхъ анти-христіанскихъ чувствъ зависти и самой легкой, преходящей, мгновенной злобы, развиваются мало-по-малу всѣ тѣ требованія «правъ безъ обязанностей», которыхъ плоды *слишкомъ извѣстны*, чтобы о нихъ здѣсь распространяться. Нужно только, чтобы эти хотя и грѣшныя, но все-таки минутныя движенія Семеновъ и Матренъ нашли себѣ оправданіе въ теоріяхъ лжепрогресса—и вотъ односторонне понятная, «удобопревратная» любовь становится иной разъ нечаянно орудіемъ злобы, чуть не научно оправдываемой!

«Но чѣмъ же тутъ виноватъ графъ Толстой? спросятъ меня. Онъ не отвѣчаетъ за дурныя движенія своихъ дѣйствующихъ лицъ; онъ доказалъ только и этою *естественною* сценой, какой онъ великій художникъ»! Видимо любя своего сапожника и жену его, онъ остался безпристрастенъ и не скрылъ въ этомъ случаѣ ихъ порочнаго нехристіанскаго движенія»!..

Да, это такъ; но вѣдь я и самъ говорю, что художественный геній его несоразмѣренъ съ весьма среднею силой

его христіанскаго мышленія, со степенію его евангельскаго пониманія.

Еслибы эти двѣ силы были-бы у него ровнѣе, то онъ, вѣроятно, *не забылъ бы упомянуть*, *что Ангелъ опять услыхалъ въ избѣ ужасное зловоніе грѣха*, подобно тому, какъ онъ слышалъ его въ тѣ минуты, когда Матрена бранила мужа и не хотѣла его накормить. Смрадъ во время завистливыхъ выходокъ сапожника и его жены долженъ быть сильнѣе даже, чѣмъ тогда; ибо гораздо естественнѣе и простительнѣе бѣдной женщинѣ испугаться и разсердиться на мужа при видѣ неизвѣстнаго и раздѣтаго бродяги, съ которымъ приходится дѣлить *послѣдній* кусокъ хлѣба, чѣмъ распалиться ни съ того ни съ сего завистью на человѣка только за то, что онъ посытнѣе, поздоровѣе и потолще ихъ съ мужемъ. Настоящая христіанская любовь не имѣетъ тѣни односторонняго демократизма. Онъ не спускается только *сверху внизъ* по соціальной лѣстницѣ и не разливается исключительно по плоскости эгалитарной казенщины; она сіяетъ во всѣ стороны одинаково! И есть много случаевъ, въ которыхъ *высшій*, богатый, одаренный властію гораздо достойнѣе и сострраданія, и сочувствія и всѣхъ другихъ движеній нашей любви, чѣмъ неимущій или даже рабъ!

Молодой графъ Ростовъ который въ «*Войнѣ и Мирѣ*» молодцомъ одинъ одинешонекъ, поколотилъ мужиковъ, бунтовавшихъ противъ беззащитной и *замѣтимъ некрасивой* княжны Болконской (которую онъ даже и видѣлъ въ первый разъ), обнаружилъ въ этомъ случаѣ больше христіанской любви, чѣмъ напр. французскій живописецъ Давидъ, когда онъ на вопросъ добраго, слабаго, уже развѣнчаннаго и униженнаго Людовика XVI. «Когда вы сдѣлаете мой портретъ?» отвѣчалъ:

— Я не пишу портретовъ съ тирановъ!

Каждый умный *и православный* простолюдинъ пойметъ

Ростова и назоветъ его не безъ сочувствія: «*лихимъ* бариномъ!» А Давидъ подлецъ, который за это слово и висѣлицы не стоитъ, а нѣсколькихъ сотъ великорусскихъ, прежнихъ плетей!

Изъ жизни православнаго народа нашего можно много привести примѣровъ истинной христіанской любви *снизу вверхъ*; но я разскажу только объ одномъ случаѣ, котораго и я самъ былъ недавно свидѣтелемъ. — Случай пустой, но очень характерный. Въ Оптину Пустынь пріѣзжаетъ (нынѣ уже скончавшійся) епископъ Калужскій и Боровскій Григорій. Онъ былъ человѣкъ скромный. Пріѣхалъ онъ въ маленькой, легкой кареткѣ, на тарантасномъ ходу, *тройкой*... Духовное начальство монастыря встрѣтило его у воротъ съ крестомъ.

День былъ будній и толпа мирянъ у этихъ воротъ была невелика. Когда архіерей удалился вмѣстѣ съ игуменомъ, стоявшій около меня среднихъ лѣтъ небогатый козельскій мѣщанинъ сказалъ мнѣ съ сожалѣніемъ; «Что же это онъ такъ *просто*... на троечкѣ!.. Хоть бы четверочку запрегъ бы!.. Право!.. *Архіерей—вѣдь*: прибавилъ онъ значительно.

Вотъ это любовь! Вотъ это простота христіанская! Что ему за дѣло въ эту минуту, что у него у самого сапоги худы! Онъ желалъ бы, чтобы сановникъ церкви, которую *онъ такъ любитъ*, сіялъ бы какъ можно больше даже и внѣшностью... Положимъ, что въ подобныхъ случаяхъ примѣшивается и эстетическое чувство, но что жь за бѣда! Тѣмъ лучше. Если гдѣ поэзія и нравственность христіанская вполнѣ за одно, такъ это въ подобныхъ случаяхъ безкорыстныхъ движеній въ пользу *высшихъ и власть имѣющихъ*!

Истинное христіанство тѣмъ и божественно, что въ немъ *все есть*: и высшая этика, и залоги глубочайшей государственной дисциплины, и всякая поэзія нищаго въ лохмотьяхъ

поющаго Лазаря, и поэзія владыки сіяющаго золотомъ и «честнымъ» каменіемъ...

Козельскій мѣщанинъ въ этомъ случаѣ оказался не только болѣе строгимъ и послѣдовательнымъ христіаниномъ, чѣмъ графъ Толстой, но и больше художникомъ, ибо графъ Толстой не выдержалъ даже до конца мистическаго характера Ангела и забылъ о *необходимости*, въ которую онъ поставленъ чувствовать смрадъ смерти всякій разъ, когда люди грѣшатъ недостаткомъ любви, какъ грѣшилъ сапожникъ съ женой, завидуя барину и злобясь на него только за то, что онъ толстъ и здоровъ... Чтобы не забыть объ этомъ, нужно бы только знаменитому писателю нашему прочесть съ *покорностью* и *смиреніемъ* тѣ мѣста изъ апостоловъ Павла и Петра, гдѣ они даже несчастнымъ *рабамъ* римскимъ строго и съ сильнымъ чувствомъ *приказываютъ любить* своихъ господъ и повиноваться имъ не только въ *глаза*, но и *за глаза для угожденія Богу* (Петра 1-е посланіе, гл. 2, Павла къ Колоссаямъ, г. 3, Іуды 22»:—...и къ однимъ будьте *милостивы съ разсмотрѣніемъ*, 23, а другихъ *страхомъ* спасайте!)...

Нельзя христіанину предпочитать Іоанна Петру или Іакова Павлу, потому что они угодили нашему поэтическому капризу или нашей сентиментальности. Такое одностороннее освѣщеніе христіанства даже нѣкоторыхъ *дѣтей*, читавшихъ повѣсть графа Толстого, удивило и запутало... Эти умныя дѣти стали спрашивать у старшихъ своихъ: «За что же Ангелъ былъ наказанъ, когда онъ пожалѣлъ эту женщину? Вѣдь это любовь»?... Я спрашиваю, легко ли было на это отвѣчать большинству *нынѣшнихъ* родителей, стыдящихся *страха* Божія? И не было ли плохое объясненіе ихъ источникомъ какого-нибудь *дальнѣйшаго вреда* для дѣтей, прочитавшихъ эту книжку, изданную «Обществомъ распроненія *полезныхъ* книгъ»?

Нѣтъ! *господа новаторы наши*, далеко вамъ до истин-

наго христіанства глубокаго и всесторонняго, твердаго и гибкаго въ одно и тоже время, идеальнаго до высшей степени и практическаго до крайности! Ваши знамена—это жалкіе растрепанные обрывки христіанства, на которые и смотрѣть не хочется тому, кто хоть разъ видѣлъ во всей красѣ его настоящій, широковѣющій стягъ православія..

И добро бы наши полухристіанскія и лже-христіанскія новшества были въ самомъ дѣлѣ оригинальны и новы; а то они всѣ ничто иное, какъ простодушное и даже иногда смѣшное повтореніе европейскихъ и въ особенности французскихъ задовъ.

Вотъ бы гдѣ гордость была кстати и безъ грѣха! Еслибы *стыдились пуще всего сбиваться на французскую эгалитарность*, и стыдъ бы этотъ доходилъ даже до сильнѣйшаго гнѣва на нее и ея представителей, то этотъ гнѣвъ былъ бы гнѣвъ хорошій, гнѣвъ чистой идеи; этотъ гнѣвъ былъ бы похожъ на пощечину, данную Арію на соборѣ св. Николаемъ Мирликійскимъ; эта *гордость* русской мысли незамѣтно довела бы многихъ до простаго непритязательнаго *смиренія* передъ православною церковью и даже передъ самыми несовершенными ея представителями...

Эти *лично* иногда несовершенные представители ужь тѣмъ хороши, что они *обязаны* сказать мнѣ *настоящія* правила вѣры, напомнить мнѣ *то, о чемъ я забылъ*... А до степени искренности ихъ чувствъ мнѣ пожалуй и дѣла нѣтъ. Не я имъ судья, *а Богъ всевѣдущій и больше никто*!